



Шломо Цемах

ГОД ПЕРВЫЙ

Шломо Цемах • ГОД ПЕРВЫЙ

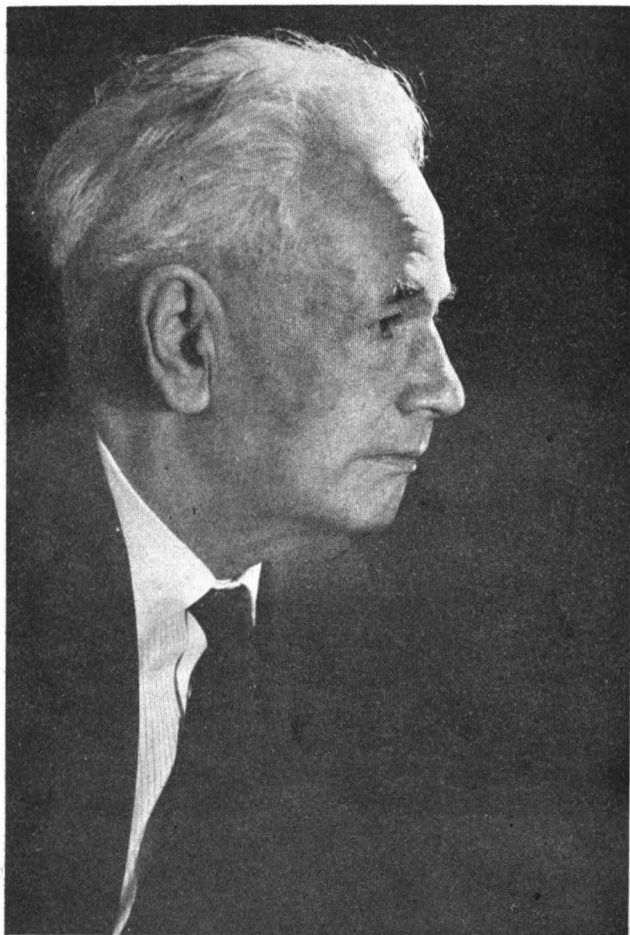
39



שלמה צמח

שנת ראשונה

עבריה וצבי עופר
קבוץ יפעת



ШЛОМО ЦЕМАХ (1886 – 1974)

Шломо Цемах
ГОД ПЕРВЫЙ



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ

1976

שלמה צמח

שנה ראשונה

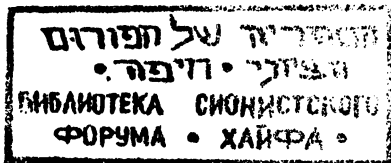
עיריית חיפה
מערכת תרבות הסנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספריה
מס. מלאי.....

46

Перевела с иврита *Ривка Пелед (Рабинович)*

Контрольный редактор *Иехезкель Керен*

Художник *Лев Парский*



2733

©

ALL RIGHTS RESERVED

כל הזכויות שמורות

לספרייה-עליה

ת.ד. 7422, ירושלים

היוצאת לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

וקרן זכרון למען תרבות יהודית, גניירוק

דכום "קריב", תל-אביב 1978

OCR Давид Титиевский, январь 2020 г., Хайфа

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Первый год – 1904 год. Год, когда в Палестину того времени, захолустную турецкую провинцию, с волной первых еврейских репатриантов-идеалистов, в основном из России и Восточной Европы, прибыл юноша Шломо Цемах. Они были первыми еврейскими наемными рабочими в сельских хозяйствах, принадлежащих еврейским землевладельцам в первых еврейских поселениях в Эрец-Исраэль. Впоследствии репатрианты этой алии, так называемой Второй алии, создали первые коллективные поселения (квуцот), из которых выросли киббуцы, основали рабочее движение в стране, а также положили начало новому направлению в прессе и в литературе на иврите.

В автобиографической повести “Год первый” (1952) из-под пера одного из лучших прозаиков израильской литературы Ш. Цемаха оживают образы пионеров Второй алии с их горестями и невзгодами, приключениями, неутомимой энергией и верой в будущее еврейского народа, с их бескомпромиссным решением ежедневно и ежечасно путем личного примера и своим созидательным трудом вести борьбу за возрождение народа на его древней родине.

Шломо Цемах, писатель, критик и драматург, родился в польском городке Плонске в 1886 г. Приехав в Эрец-Исраэль, он пять лет работал сельскохозяйственным рабочим в поселениях Иудеи и Галилеи. Он был

одним из основателей партии "Хапоэл хацаир" и союза "Хахореш". Первыми его шагами в литературе были рассказы "Как живут в Эрец-Исраэль", опубликованные разными издательствами в стране и за рубежом. В 1909 г. Цемах уезжает во Францию, где изучает литературу и философию в Сорбонне, а в 1914 г. получает диплом сельскохозяйственного инженера в университете Нанси. В 1921 г. он опубликовал повесть "Элияху Марголит", в которой впервые на иврите дан образ жизни молодых евреев-интеллектуалов на Западе (в Париже) накануне Первой мировой войны. После войны Цемах возвращается в Эрец-Исраэль и работает преподавателем в сельскохозяйственной школе "Микве-Исраэль", а затем занимает пост начальника отдела сельскохозяйственного инструктажа в Еврейском Агентстве. В 1933 г. основал сельскохозяйственную школу "Кадури" и был ее директором в течение пяти лет.

В 1928 г. была опубликована драма Ш. Цемаха "Танхум из села Яноах", посвященная секте ессеев, живших в долине Иордана в период Второго храма. В 1933 г. он вместе с Бяликом основал литературно-художественный журнал "Мознаим", который и поныне является печатным органом Союза израильских писателей. В 1953–57 гг. редактировал ежеквартальный журнал "Бхинот", посвященный литературной критике.

Последние двадцать лет своей литературной деятельности Ш. Цемах посвятил трудам в области эстетики и художественной литературы.

Блестящий эссеист, тонкий ценитель искусства, знаток европейской литературы, глубокий эрудит в вопросах еврейской истории и литературы с библейских времен и по настоящее время, мастер прозы на иврите, он опубликовал целый ряд эссе, исследований

критических статей и произведений мемуарного и философского жанра. Особого внимания заслуживают работы: "О красоте" (1938), "Смех" (1947); сборники "Вдоль и поперек" (1960; Премия им. Бялика) и "Вперемежку" (1965; Государственная премия Израиля). Умер в Иерусалиме 5-го ноября 1974 года.

Глава I

КАК ПОТЕРЯННАЯ ОВЦА

В полночь, когда поезд отошел от Венского вокзала в Варшаве, я ощутил себя оставленным, всеми забытым и жалким. Никто не знал, каким образом можно добраться до Эрец Исраэль; даже в винном магазине "Кармель" не знали. Не видя другого выхода, схожу в Бендзине у тройной границы – между Россией, Германией и Австрией. Как бы там ни было, я отправляюсь в "Круку"* . Название этого города в Галиции считалось у евреев Речи Посполитой (Великой Польши) обидным прозвищем, означало нечто не от мира сего. Когда человек не в себе и сам не знает, что болтает, о нем говорят: "Этот простофиля в Круку отправился"; когда человек вмешивается в чужие дела, а свои забрасывает и бездельничает, о нем говорят: "Круковские заботы его одолевают". И я никак не мог отделаться от мысли, что в моей поездке туда есть что-то жалкое и постыдное.

При мне не было ни чемодана, ни ящика, ни даже узла. Отправился в чем был. Ведь поездка моя не что иное, как побег, отмеченный печатью моего греха перед отцом и матерью. Вопреки запрету взял часть их денег и без разрешения покинул дом. Конечно, я причинил им большое горе, может быть, разбил больное сердце своей старой матери и стал позором семьи.

*Крука – город Краков в произношении польских евреев.

Отец гнался за мной, но не догнал. Теперь, когда поезд тронулся, уж наверняка не догонит. И подобно тому, как сила, толкавшая меня на это большое дело, была внутри, во мне, все мое достояние было буквально на мне. Те три ассигнации, по сто рублей каждая, спрятаны под рубашкой на теле и похрустывают под пальцами всякий раз, когда я прикасаюсь; а я часто трогаю их, хотя мне и советовали, чтобы я не привлекал внимания воров к своему сокровищу. И та открытка Нахума Соколова*, который отослал мне однажды назад мою рукопись, но признал все же, что, как ему кажется, есть во мне "искра Божья". Только мне нужно работать и еще раз работать. И еще открытка Моше Смилянского**, ответившего мне из Реховота, что сначала я должен приехать, а уж тогда работа, наверное, найдется. Все, что мне представлялось ценным, было не мое, а то, что мое, пока ничего не стоило. Но раздумья и тревога за будущее — сами по себе, а усталость телесная — сама по себе. Когда человеку 18 лет, то даже если богатства его велики, забот у него немного. Особенно у такого парня, как я, сорванного с места и сидящего в этом прокуренном еврейскими торговцами и наполненном шумом их голосов вагоне, парня, мысли которого в это время витают по горам и долам. Я погрузился в глубокий, сладкий сон и проспал до рассвета, пока меня не разбудили на конечной станции Бендзин, кишевшей людьми.

Потрогав ассигнации, спрятанные на сердце, и услышав их шорох, я вышел на перрон, и все тот же вопрос

*Нахум Соколов (1859–1936) — известный деятель сионистского движения, позднее — президент Всемирной сионистской организации. Писатель, журналист, редактор.

**Моше Смилянский (1874–1953), писатель, журналист, поселился в Палестине в 1890 году и позднее возглавлял "Объединение крестьян" в Эрец Исраэль.

”куда теперь?”, большой и всеобщий, мучивший меня и приведший сюда, сжался в объеме и закружился в растерянности заблудившегося человека, знающего, куда он хочет попасть, но не знающего, как туда попасть. Бендзин расположен сразу на трех границах. Как перейти хотя бы одну из них? Но действительность не столь запутана, как предполагают, в ней есть своя логика. Поскольку город стоит на границе и поскольку евреи сотнями и тысячами проезжают через него каждую ночь, понятно, что такого парня, глаза которого блуждают в поисках неизвестно чего, не оставляют надолго стоящим вот так, с блуждающими глазами. Возле меня вырос низенький еврей с пейсами — одна пейса была спрятана в растрепанной, редкой и клочковатой бороде, другая была зачесана за ухо. У него были красные глаза и походка кузнечика. Он схватил меня за рукав:

— Ищете ночлег, молодой человек?

— Да.

— Я хозяин гостиницы, к вашим услугам.

Я пошел за ним. Он подивился тому, что у меня нет багажа и что я такой молодой, и намекнул, что с первого взгляда понял: я из числа рассорившихся с государством, времени у меня мало, я покидаю страну; но мне повезло, что случай свел меня с ним, Иехезкелем Ватманом, имеющим опыт в делах таких, как у меня, прямо-таки чудо приключилось со мной.

Дело было в месяце Шват 1904 года. Уже распространилась весть о поражении армий Николая, ударивших по японцам в пустынной Манчжурии, и в зеленой русской степи стало попахивать пожаром революции.

Жилище Иехезкеля оказалось бедным и грязным, ни постояльцев, ни комнат не было в нем, а место, которое освободили для меня, было местом за столом в спальне хозяина, где кровати не были застланы, и в

люльке лежал ребенок со странной сыпью на лице и в сильном жару. Мое появление вызвало большую панику. Хозяйка засуетилась приготовить завтрак, причем оказалось, что еды нет и денег ни гроша. Она одолжила у меня немного мелочи в счет платы за постой, чтобы пойти в лавку и купить съестного. А Иехезкель, ее муж, быстрыми движениями хватался то за правую пейсу, уходящую в бороду, то за левую, заправленную за ухо, и все время метался по комнате, пока не набрался духу спросить:

— Когда вы хотите перейти границу?

— Как можно скорее.

— Можно даже сегодня.

Дернул себя за обе пейсы одновременно — и скрылся. Вскоре вернулся в сопровождении двух евреев в коротких одеяниях, ввел их в комнату ко мне, сказал: "Вот этот молодой человек", — и вновь скрылся.

Я и евреи сели вокруг стола. Один из них был высокий, рыжеволосый, с толстым синеватым шрамом, наискось пересекавшим все его лицо от правого виска, с маленькими зелеными глазками, беспрерывно бегающими и моргающими, словно они не могли спокойно смотреть в лицо человеку.

Его напарник был среднего роста, спокоен и рассудителен, хитрил на каждом слове и с удовольствием курил толстую папиросу, пуская дым кольцами. Фиолетово-желтое бельмо закрывало его левый глаз, который смотрел на меня неотрывно, упрямо, нагло и с насмешкой, и от взгляда этого мурашки пробегали по коже. Первый, со шрамом, вытащил из кармана несколько грязных бумаг и разложил их на столе:

— Вот документы для перехода границы. Выбери себе один из них, чтобы приметы, указанные в нем, походили на твои. Ты, наверное, большой знаток этого языка.

Тут же сердце подсказало мне, что я попал в руки злодеев, и мне грозит большая опасность. Действуя наобум, я положился на свое чутье — невидимку-спасителя, — надеясь, что оно подаст мне сигнал к спасению в момент беды. Неторопливо и обстоятельно стал я рассматривать разложенные передо мной документы, проверял их снова и снова каждый в отдельности и сличал один с другим. В конце концов выбрал один со следующими приметам: возраст — 29 лет, глаза — голубые, волосы — светлые, рост — ниже среднего, женат, столяр по профессии — и сказал им:

— Вот этот нравится мне больше других.

Теперь настала очередь второго вмешаться в переговоры. Бельмо в его глазу два раза повернулось вверх и вниз, а в хитром втором глазу загорелось что-то жестокое; он вытащил изо рта папиросу, поднял лицо к потолку, выпустил в воздух струю дыма и начал говорить довольным тоном:

— Это будет вам стоить двадцать пять рублей. В городе беспорядки, ”жондеры”-солдаты подведены к воротам.

Я не стал торговаться с ними. Другие сомнения одолевали меня. Я уже решил, что не пойду с ними, и вел этот разговор лишь для отвода глаз. А проводники немедленно начали донимать меня подробным рассказом о том, каким образом мы пересечем границу. На вокзале мне вручат выбранное мною свидетельство. Едем мы поездом, не таясь, имея разрешение. ”Жондеры”-контролеры ”подмазаны”, так что страшиться нечего. В одном вагоне со мной поедет тот, который с бельмом, он же даст мне ящик со столярными инструментами. Деньги я уплачу ему в вагоне, после того как мой документ уже будет подписан контролером. Видно, что человек я порядочный, поэтому они не боятся, что я скроюсь и не уплачу. Поезд отходит в четыре, а я

должен быть на месте, в ночлежке Иехезкеля, в три, и владелец шрама придет показать мне дорогу на вокзал. Я согласился на все условия и сказал даже, что готов дать пять рублей задатка, но они отказались: это у них не принято. Через щель приоткрытой двери я видел Иехезкеля, который, наострив уши, ловил каждое слово, сказанное здесь. Услышав, что дело слажено, он сразу вошел к нам с бутылкой водки в руках, налил всем по стопке, пожелав: "В час добрый!" Проводники ответили ему тем же пожеланием, подали мне руку и покинули меня со странной, подозрительной поспешностью, словно хотели убежать, пока я не передумал и не расторг сделку.

Когда они ушли, я сказал Иехезкелю, что хочу рассчитаться с ним за постой. Он удивился, чего это я спешу заплатить, и на лице его я прочитал, что он подозревает меня в желании скрыться. Все же он не удержался от соблазна и назначил высокую цену, но я, не споря, уплатил ему и ушел под предлогом, что мне надо кое-что купить и что я хочу погулять по городу, чтобы скоротать время, и что вернусь к трем, как было условлено. Иехезкель не ошибся. Я твердо решил удрать от этой компании злодеев, хотя и не знал еще, где найти пристанище. У меня вызывал смех выбранный мною паспорт, согласно которому глаза у меня голубые, в то время как они черны, как тушь; волосы — золотистые, в то время как они цвета вороньего крыла, длинные, вьющиеся и закрывающие весь затылок. Мои "приметы" были недостойны парня, получившего открытку от Соколова, в которой ясно сказано о наличии "искры". И бороды у меня нет, а лишь юношеский мягкий пушок на подбородке, которого еще не касалась бритва.

Я ускорил шаги и направился в центр города. Во-первых, сказал я себе, хорошо бы, сбрив волосы на

голове и на щеках, немного изменить свою внешность, чтобы меня не узнали. Но в городе был большой переполох, большинство магазинов закрыто. По улицам разъезжали конные жандармы с оружием и нагайками в руках. Они сидели прямые и вытянувшиеся, глаза их не смотрели по сторонам. Бастовали шахтеры Домбровы, к ним примкнули железнодорожники. Город Бендзин словно закрылся передо мной. И вдруг передо мной сверкнула позолотой вывеска парикмахерской с тремя медными тарелками, висящими на шесте и позвякивающими в воздухе. Вошел. День был облачный, и в зале, не имевшем окон и освещенном только светом, проникавшим через стеклянную наружную дверь, было темно. Левую стену покрывали три зеркала в позолоченных рамах. Перед средним, скорчившись на стуле, сидел человек и читал книгу. При моем входе он вскочил, положил открытую книгу на мраморную плиту у зеркала среди банок и шприцев, подошел ко мне и попросил сесть в кресло. Это был парикмахер-фельдшер (его прозвали "доктором"), еврей среднего роста, худой и щуплый, со впалой грудью, ломким голоском и необычно ярким румянцем на щеках; он харкал и моргал своими черными глазами всякий раз, когда произносил слово. На краешке подбородка у него была золотистая бородка, не доходившая даже до середины щек, но тщательно расчесанная, подстриженная квадратом, похожая на лезвие мотыги и взлетающая вниз и вверх при движениях, словно виляющий хвост.

Уселся я в кресло, и он начал расчесывать мою шевелюру и обрабатывать ее ножницами. Клок за клоком падали мои черные кудри на белую простыню, и глаза мои следили за тем, как мое отражение в зеркале теряет всю свою красоту и великолепие. Я ждал, что он вступит со мной в беседу, как это обычно

делают цирюльники во время работы, но он молчал. Когда он вышел в соседнее помещение за кипятком для бритья, я украдкой взглянул на его книгу. И что же — оказалось, что это "Алтнейланд"* на идиш в переводе Соколова! Жилка вздрогнула в моем сердце, отдалась в мозгу и заставила его лихорадочно заработать. Таинственный спаситель не оставил меня, протянул руку в трудную минуту! Я дал фельдшеру-парикмахеру намазать мою физиономию мыльной пеной, и пока он размахивал кисточкой, быстро соображал. Когда же он взял в руку бритву и начал точить ее на ремне, прикрепленном к моему креслу, я положил ладонь на его руку и сказал:

— Вы сионист?

Он подозрительно взглянул на меня лихорадочно блестящими глазами и недовольно ответил встречным вопросом:

— А почему это вас интересует?

Я вытащил руку из-под белой простыни и показал на открытую книгу, сказав:

— Я не бендзинский.

— Я так и думал.

— Прибыл сюда, чтобы перейти границу.

— Нет, нет, этим я не занимаюсь.

— Но я еду в Эрец Исраэль.

Он стал вновь молча точить бритву. Однако, прежде чем дотронулся лезвием до пушка на моих щеках, спросил:

* "Алтнейланд" ("Страна возрождения", русский пер. 1902) Т. Герцля. Утопический роман, описывающий Палестину, какой она будет в 1925 году.

— А где у меня гарантия, что вы говорите правду, что действительно направляетесь в Эрец Исраэль?

Я просунул руку обратно под простыню, вытащил из потайного кармашка на груди две открытки, находившиеся при мне, и подал их фельдшеру. Читать на иврите он не умел. Но имя "Соколов", имя человека, который перевел для него на понятный ему язык книгу Герцля, он прочел, и его золотистая, квадратная, похожая на лезвие мотыги, бородака затряслась в одном ритме с подбородком:

— Не знаю я "лошн-койдэш"* , но мой сосед, мельник, знает.

И поспешно вышел из парикмахерской. Вскоре он вернулся вместе с евреем лет сорока, одетым в толстый халат на вате, стеганный квадратами, швы которых вдавались вовнутрь, а середины выделялись выпуклостями. Сразу видно было, что это мельник, поскольку халат его был сер от мучной пыли, мука белела на шапке и даже на бровях, а на лице видны были только запыленные очки и забавная бородака, начинающаяся чуть ли не у самых очков, в то время как конец ее терялся среди квадратов халата на груди. Фельдшер-цирюльник взял карточки из моих рук и передал этому еврею. Тот приблизился к стеклянной двери, наклонил голову, поднес бумагу к самым очкам и стал читать и перечитывать написанное, посмотрел на почтовый штампель, затем поднял голову и гулко уронил в пространство полутемного зала:

— Да, да, — раздельно, два раза, один за другим.

Затем он подошел ко мне, подал руку и поздоровался:

*"Лошн-койдэш" — "святой язык". Так называли иврит европейские евреи-ашкеназы.

— Я член комитета "Мизрахи", но сионист из приверженцев Сиона*.

Уселись — фельдшер в одно кресло, мельник в другое — и стали слушать рассказ о приключившемся со мной, о хозяине ночлежки Иехезкеле и двух проводниках, (один с бельмом, другой со шрамом), и о том, как сердце подсказало мне, что дело неладно, и я столкнулся с непорядочными людьми.

— Непорядочными!.. — прохаркал с издевкой фельдшер. — Да это же разбойники, убийцы... Передадут тебя жандармам — это одна компания, отнимут у тебя все деньги и погонят этапом обратно, в стальных кандалах через все польские местечки до твоего родного города. Спешь, молодой человек, беги из Бендзина; не вернешься к трем часам — Иехезкель начнет искать тебя — и разыщет, чего доброго.

Мельник подмигнул ему из-под очков, и оба они вышли. Темные силуэты их были видны мне через стеклянную дверь, и, судя по жестам их рук, они обсуждали там серьезный вопрос и, возможно, даже выносили мне приговор. В зеркале напротив отражалась моя физиономия, покрытая белой пеной, но и открытые участки кожи были столь же бледны. Все мое тело под белой простыней дрожало. Возвратиться в свой город Плонск, бряцая железными цепями на ногах, шагать вместе с компанией преступников по улицам и рынку, этапом! Все лавочники стоят на

* Сионист из приверженцев Сиона ("Ционей Цион") — в отличие от соглашавшихся с проектом Уганды. (В 1903 г. британский министр колоний предложил Герцлю проект создания в Восточной Африке автономной еврейской колонии, которая, за неимением "чартера" от турецкого султана на Палестину, сможет служить убежищем для преследуемых царизмом евреев. Седьмой Сионистский Конгресс отверг этот проект и вообще идею о замене Эрец Исраэль другой территорией).

крылечках своих магазинов и смотрят, как меня ведут в тюрьму... Господи, Боже мой, вот чем закончится моя история...

Возвратившись в зал, мельник вновь протянул мне руку:

– Доброго пути, с Господней милостью, прочтем за вас молитву на дорогу, доброго пути, – и скрылся.

Фельдшер взял бритву и начал проворно брить меня, одновременно с кряхтеньем и харканьем объясняя мне, причем его квадратная бородка подпрыгивала передо мной в зеркале:

– Мы сейчас же выезжаем в Вольбрум. Я закрываю парикмахерскую, чтобы проводить тебя туда, уплатишь мне рубль за убыток. Есть у меня родственник в Вольбруме, главный агент по переводу через границу, не беспокойся, передам тебя в надежные руки... Ждать некогда, Иехезкель с дружками не будут сидеть сложа руки...

Я опять вздрогнул всем телом под белой простыней, и бритва порезала мне щеку.

– Сиди спокойно, – заволновался фельдшер.

Когда он закончил свою работу и обрызгал мне голову и лицо душистой охлаждающей жидкостью, я поднялся с кресла, остриженный и выбритый, а первые всходы моей бороды, смешанные с пеной, и кудри валялись на полу, став мусором. Фельдшер торопит меня уйти, запирает дверь своего заведения, и мы направляемся на вокзал. Тем временем на железной дороге вспыхнула забастовка, и не оставалось ничего другого, кроме последних вагонов товарного поезда. Но фельдшер имел связи с конторскими служащими, и после недолгих переговоров нас провели в вагон, груженный углем. Поезд тронулся. Итак, я благополучно удрал и направляюсь в Вольбрум.

– Повезло тебе, счастливец, – кряхтит фельдшер, – вначале я не верил, но – собственноручная подпись Соколова!

Моросил мелкий дождик, и влажные глыбы угля блестели, словно смазанные жиром. Мы сидели на них, близко друг к другу, пытаюсь заслониться от сырости и холода. Я рассказывал ему все о себе: откуда я, из какого дома, куда направляюсь и ради чего. Он вытащил смятую бумажку и сунул мне в руку. В туманной полутьме я разглядел, что это денежная ассигнация. Он сказал:

– Ничего, все хорошо, что хорошо кончается. Через час мы будем в Вольбруме. Сглупил я, взяв у тебя этот рубль...

Глава II

СРЕДИ СВОИХ

От местечка до железной дороги — переход в несколько верст, но вокзал оживлен, и движение здесь как на крупном железнодорожном узле. Каждый прибывающий поезд, будь то пассажирский или товарный, встречают курьеры и уполномоченные, каждый — своих, согласно списку. Все здесь "подмазаны" — директора, чиновники, таможенные охранники, пограничная охрана. Никто не требует документов и не проверяет содержимое портфелей. Какое-то независимое царство, в котором гой и еврей заодно, одни дают, другие получают, все сговорились помогать отрыву от родных мест десятков тысяч евреев и рассеиванию их по заморским странам. Этот извилистый поток напоминал бурную реку нищеты и скитаний, истоки которой — в глубине России, а конец — в этом захолустном местечке под названием Вольбрум. А вдоль этого пути изгнания, проходящего через Минск, Ковно, города Украины, Литвы и Полесья, раскинулась сеть агентов, на каждом повороте направляющих поток эмигрантов к заветной цели. Конечно, и здесь страдания и беды бездомных и блуждающих людей привлекают мошенника и открывают широкие возможности для его козней, и он нагревает себе руки, обирая эти потерянные существа, эту людскую пыль, становящуюся пеп-

лом чужбины. Он обменивает деньги по цене ниже курса; сам запутывает дела, затем исправляет их и берет за это свою мзду с видом чудесного избавителя; проникает в каждую дырку и щель отчаяния, бедности и заброшенности и скупает за бесценок серебряные бокалы для Кидуша (субботнего освящения вина), столовое серебро, обручальные кольца, драгоценные камни, ниточки жемчуга и другие ювелирные изделия, то, что осталось от многих поколений, живших в достатке и благополучии. Однако в дебрях этого царства тоже есть свой режим и распорядок, и даже содержимое руки обманщика проверяется, чтобы она не тронула самого главного, и вступающему в это царство, по крайней мере, обеспечено одно: границу он перейдет благополучно.

Когда фельдшер из Бендзина, мой благодетель, привел меня в большой красный дом с множеством небуранных комнат, кишевших толпами людей, я понял, что фортуна действительно улыбнулась мне, и я попал в надежную гавань. Теперь я всего лишь пылинка среди комьев земли, проходящих через колеса этой мощной машины; и что будет со всем Израилем, то будет и со мной. Я приободрился и пригласил своего проводника в буфет, где мы распили по стопке отличной сливовицы, привезенной из-за границы. Я благодарил его и желал всех благ за все те добрые услуги, которые он оказал мне. Когда он, оставив меня, направился к своему родственнику-агенту говорить о деле, управляющий домом отмерил мне кусок затоптанного пола, и, хотя у меня не было одеяла, чтобы расстелить его, и даже узла, чтобы подложить под голову, я не побрезговал предложенным местом и вытянулся на нем во весь рост, смешавшись с другими изгнанниками и став одним из многих. Страх улетучился из сердца.

В этой комнате лежало около ста живых душ, теснились, прижатые друг к другу, старики и женщины, девушки и младенцы. Это были отцы и матери, братья, сестры, невесты и жены, направлявшиеся к своим сыновьям, братьям, женихам и мужьям, уехавшим в Америку. Среди их жалких грошей, спрятанных в потайных карманах под одеждой, были свернутые билеты на пароход, отплывающий из Гамбурга, и взоры их со страхом и озабоченностью были устремлены на этот пограничный пункт, место, сулящее открыть им путь к покою и спасению. Ведь стоит только вступить на землю Австрии, как им уже гарантируется попечительство пароходной компании, название которой записано в их билетах. Пока они валяются здесь, словно навоз в поле, в душном зловонии этого "зала", освещенного лишь одной запыленной лампочкой "люкс", я стал ощупывать глазами эту валяющуюся на земле, среди узлов, пеструю толпу, дремавших или перешептывающихся и копошащихся людей, но не увидел в них ничего, кроме немой тупости бродяжничества, усталости и безвыходной покорности судьбе. Даже детишки на руках у матерей не пищали. И вдруг стопка сливовицы, выпитая на пустой желудок, начала ударять мне в голову, одурманивать и туманить мысли. Вдруг напала страсть словоговения, всегда жившая во мне (в своем городке я был в числе ораторов), начала подстегивать и подталкивать меня встать на ноги перед этой толпой заблудших сердец и сказать, куда я направляюсь и ради чего направляюсь туда. Может быть, я тем самым дам им немного утешения и радости.

В то время как я распаялся от этих мыслей, вернулся фельдшер и с ним еще один еврей. Фельдшер

спешил попрощаться со мной, чтобы не опоздать на последний поезд, отходивший в Бендзин, и передал меня на попечение пришедшего с ним еврея, сказав, что все идет как надо и мне остается лишь полагаться на тех, кто будет меня направлять. Так что я попал под начало к этому человеку. Новый патрон сделал мне знак следовать за ним. Однако, поднявшись с пола, я почувствовал, что колени мои качаются, лампочка "люкс" под потолком описывает круги, и мне хочется шутить. Я похлопал этого еврея по плечу и сказал ему: "Прекрасно, прекрасно". Тот повел меня в квадратную комнату с кушетками и круглыми столиками, с виду похожую на маленькую пивную — место переговоров с чиновниками, таможенниками и офицерами пограничных патрулей. На столике, отведенном нам, стояла бутылка спиртного и стаканы. Передо мной сидел низенький еврей, почти карлик, обутый в высокие, почти до колен, сапоги и одетый в черный овчинный полушубок. Все в лице его было острым и колючим. На остром подбородке — ни следа бороды, лишь несколько волосков курчавились на нем. Кожа щек голая, покрытая оспинами, зеленовато-бледная, оттенка сухого сена. Нос его был остр и тонок, казалось, что ноздри слиплись одна с другой, так что было неясно, как этот закрытый нос может втягивать воздух. Маленькие черные глазки его были колючими, даже высокое выпуклое темя остриями спускалось к вискам. Его сухие и подвижные пальцы непрерывно расстегивали и застегивали пуговицы полушубка. Он угостил меня сигаретой из Герцеговины и начал говорить. В голосе и речи его были приятность и тепло, подобных которым я в жизни своей не встречал:

— Если вы спросите, молодой человек, кто сидит в поездах и играет в подкидного с мужиками, — вам

скажут: Черный Лазарь. Это правда. В карточной игре я великий мастер и выуживаю часть выручки у крестьян, едущих с рынка. И опять же, если спросите, кто провозит контрабандой из Австрии ткани, табак, сигареты, драгоценности и прокламации, — вам скажут: Черный Лазарь. Это правда. Мое ремесло — контрабанда, ею и кормлюсь. И если спросите, кто обтачивает и подновляет зубы краденым лошадям и делает их из старых молодыми, — вам скажут: Черный Лазарь. И это верно. Нет мне равного в искусстве обтачивать конские зубы. И если Черный Лазарь говорит вам: этой ночью благополучно перейдете границу и завтра будете обедать в ресторане в Круке, — то будьте спокойны и уверены: правду говорю вам, так оно будет, а не иначе...

Посмотрел на меня Черный Лазарь своими колючими глазками, чтобы удостовериться, какое впечатление произвели его слова, и добавил сквозь тонкие губы:

— И еще кое-что. Если вы спросите, молодой человек, этих скотов, валяющихся здесь на земле, сколько я беру с них за переход границы, вам скажут: по четыре рубля за душу. Верно. Всего по четыре рубля беру. Но видно, что вы из хорошей семьи, что земля горит у вас под ногами и вам необходимо перейти границу нынче ночью, — поэтому заплатите мне вдвойне: дадите красненькую, я вам верну сдачи две бумажки, но уж и присмотрю за вами лучше, чем за другими.

Никогда еще я не верил так человеку, как верил этому низенькому чернявому еврею. Я протянул ему руку в знак согласия. Он схватил ее своими сухими пальцами и потряс с искренним воодушевлением, словно благодарил за доверие к нему. И вновь начал:

— И вот что, молодой человек. Не спрашиваю у вас, откуда прибыли и куда направляетесь. Видите этот нос? Вроде бы закрытый, а все чует и знает. Большой пожар разгорается вокруг. На прошлой неделе я перевез два пуда прокламаций. Здесь есть одна девица, наша официантка, миловидная собой, и нос всюду сует. Мы не можем избавиться от нее — не спрашивайте меня, почему. Будьте осторожны: это змея. Смотрите, я предупредил вас, держите язык за зубами. А теперь выпьем пива.

Отдал я ему красненькую, он вернул мне два рубля ассигнациями, мы наполнили наши стаканы и выпили, и он пожелал мне счастливого пути. Когда он собрался уходить, я сказал ему, что голоден, ничего во рту не имел с тех пор, как завтракал в ночлежке Иехезкеля. Он ругнулся, назвал меня бездельником и показал столовую. Пошел я туда и уселся за длинный узкий стол, застланный скатертью, на которой остались следы всех блюд, побывавших на столе. Я почувствовал, как выпитое с Черным Лазарем присоединяется к сливовице, выпитой с цирюльником, и эта смесь берет свое: я слегка одурманен и мне хочется болтать. Сразу же передо мной выросла официантка с отливавшими золотом волосами, уложенными в высокую прическу, как у японской гейши (за время русско-японской войны мы переняли кое-что из обычаев Страны восходящего солнца), в которой со всех сторон сверкали шпильки и гребенки; в глазах у нее была чистейшая небесная голубизна, щеки румяны, грудь округла и походка легка.

— Я голоден, — сказал я ей.

— Нынче вечером прибыли?

Хотя я и был настроен болтать и шутить, все же помнил слова Черного Лазаря, посмотрел на нее с легкомысленным выражением и с вызовом ответил:

— Когда человек голоден, его не донимают вопросами, а сначала дают ему поесть.

Она усмехнулась и положила руку на мою:

— Выпил ты, и теперь навеселе.

— Да, выпил, а теперь есть хочу.

— Еще молоко на губах не обсохло, а уже по дорогам мотаешься.

Я вытащил руку из-под ее руки и не ответил на ее слова:

— Принесите мне кусок гуся с картофелем и не морочьте мне голову разговорами.

Вернувшись с тарелкой, она сделала обиженное лицо, но все же уселась за мой стол, оперев свою хорошенькую головку на два кулачка, и подняла на меня свои голубые глаза. Я так и не узнал, каковы ее намерения: пришла ли она развязать мне язык или просто привязалась от скуки. Во всяком случае, она не отставала от меня:

— Почему не угощаете меня? Наши гости обычно меня угощают!

— А чего вы хотите?

— Пива.

— Принесите себе и мне за мой счет.

Пошла она и вернулась с пивом. Чокнулась своим стаканом с моим, откинула свою голову с золотистыми волосами назад, выпила залпом и поставила стакан со стуком, как делают заправские пьяницы, взяла меня за подбородок и заглянула в глаза:

— Ребенок вы еще.

Затем уселась и заговорила рассудительно, низким голосом:

— Знаете ли вы, с кем связались? Этой ночью их прихлопнут, уж я знаю, что говорю. Уплатили ли вы

уже Лазарю? Если нет, я устрою вам переход дешево и словно по стальному мостику, все офицеры тут у меня в руках!

— Не связывался, не платил, не знаю, о каком Лазаре вы говорите, устал я, — и пошел. Официантка последовала за мной в зал. Изгнанники валялись здесь на полу, словно жертвы на поле брани, их храп раздавался в спертom воздухе. Маленькая коптилка только сгущала темноту. Я нашел свое место и уселся на грязный пол.

— Одеяла нет у вас?

— Нет.

— А где ваш чемодан?

— Нет у меня чемодана.

— Странная вы птица. Принесу вам одеяло.

— Не нужно, я не пользуюсь чужими вещами.

— Нехороший вы парень, дурной, — нахмурилась, показала мне язык и скрылась, разгневанная и обиженная...

Не знаю, сколько часов проспал я в этой грязи, которая согрелась и словно растаяла подо мною. Часов у меня не было, и время тянулось долго-долго — годами, пятидесятилетиями. Я открыл глаза, ощутив, как сухая рука Черного Лазаря трясет меня. Все постояльцы лагеря были на ногах, с узлами за плечами, младенцы подняли страшный визг. Кто-то заорал в темноте: "Заткните глотки! Навлечете на нас беду!"

— Вставай, молодой человек! Ты едешь во второй повозке и пойдешь за мной, — торопил меня Черный Лазарь, который собрался вывезти из лагеря двенадцать изгнанников, выстроил их, встал во главе колонны и увлек ее за собой. Непроглядная ночная тьма охватила нас, нудный мелкий дождик охлаждал мою

пылающую голову. Меся густую грязь, пробирались мы по закоулкам Вольбрума, погруженного во мрак. В нашей компании только одна женщина с девочкой на руках, остальные — отцы и матери, едущие к своим сыновьям за океан. Сам Черный Лазарь шагал рядом со мной и пояснял:

— Нет ничего лучше, чем вторая повозка: когда первая не проходит, вторая успевает повернуть назад и скрыться; а если первая благополучно прошла, то вторая уж наверняка пройдет.

Теперь словно кто-то отнял у него уверенность. Обутый в высокие сапоги, доходившие до середины голени, он ускорял свои узкие шаги, будто убегая от кого-то. Большая сигара у него во рту потухла. Он вел нас в обход, по пустырям и закоулкам, то останавливался и прислушивался, то в раздумье смотрел по сторонам, словно пытаясь что-то разглядеть в темноте, пока не вывел нас из местечка в открытое поле. Здесь он остановился и тонко свистнул. Из тумана ему ответили два свиста один за другим, и он скомандовал:

— А теперь бегом!

Ринулся вперед на своих коротких ножках и полетел впереди нас, словно лук из стрелы. Кто-то поскользнулся и упал, поднялся вновь, но никто не обратил внимания. Один старик кричал отрывисто, задыхаясь "Шма,Израэль"; женщина бормотала: "Господь Авраама, Ицхака и Иакова" — никто не замечал их. Все бежали за Черным Лазарем, кто легко, а кто и через силу за неимением другого выхода. Когда он остановился, мы оказались во дворе крестьянской избы, где стояли два фургона; до нас донесся запах вареной бульбы, лошади фыркали, ржали и брызгали из ноздрей. Из темноты вынырнули два высоких

мужика с кнутами в руках и в черных полушубках. Они сразу же отошли с Черным Лазарем в сторону, начали шепотом вести с ним переговоры и долго озабоченно совещались. Мне вспомнились слова официантки: "Этой ночью их прихлопнут". Возвратившись, они начали грузить изгнанников в фургоны — глубокие и длинные, на дне постлана сырая солома. В каждый фургон впихивали шесть душ, укладывали во всю длину одного за другим, словно селедки в бочку. Потом на всех накинули циновку из ивовых веток, какой накрывают кур, когда везут на рынок, а сверху набросали еще соломы. Сначала выехала первая повозка с шестью душами. Мы немного подождали, а затем настала наша очередь. Прежде чем она тронулась с места, я услышал голос Черного Лазаря, строго наказывающего возчику:

— В твоей повозке есть один черноволосый паренек, очень молоденький — присмотри за ним, независимо от того, проведешь ли ты его или вернешь ко мне обратно. Понял?

— Понял, — ответил гой-возчик. Колеса повозки завертелись. Женщина с девочкой лежала рядом со мной и шептала мне в ухо: "Из-за девочки не беспокойся, ей дали сахару с валерьянкой, и она спит". — "Кто дал?" — спросил я у нее. — "Тот маленький, черненький", — ответила она. Я немного успокоился: по-видимому, все здесь было продумано и предусмотрено. Неверно говорят, что душа содрогается во время опасности. Дрожь бывает вначале и ненадолго. Затем душа схватывает детали событий, погружается в них, увлекается ими и успокаивается. Когда фургон начал мерно покачивать нас, то приближая друг к другу, то откатывая одного от другого, когда приятная теплота распространилась под ивовой циновкой, и из соломы испарилась влажность, обитатели повозки начали забы-

вать свое положение и беседовать между собой на незначительные темы. О грязи на постоялом дворе, о дороговизне в столовой, о грубости слуг и лакеев. Вновь воцарилась та же обалдевшая тупость бродяжничества и беспомощности, та тупая бессмысленность, которая своей пустотой преграждает все подступы к раздумью и чувству. В этой пустоте мы раскачивались и болтались час за часом, пока вдруг до нашего слуха не донеслись глухие звуки галопа и ржания. Мы услышали голос, приказывающий по-русски: "Стой!" Очевидно, наткнулись на патруль пограничников. И вновь вспомнились мне слова официантки: "Прихлопнут их сегодня ночью". Фургон остановился, из него как будто исчезла приятная теплая пустота, и ее место занял тяжелый дух ужаса. Между возчиком и патрулем развернулись переговоры. Видимо, силы сторон были равными. Один из солдат приблизился к фургону; ржание его лошади прорезало тесное пространство. Он начал проверять штыком своего ружья содержимое фургона. Воткнул его с силой в солому и в ивовую циновку и заколебался; начал сбрасывать солому и медленно, с осторожностью ощупывать, словно пытаюсь разыскать пустое место. Миновал пространство между мною и лежавшей рядом женщиной, — мы лежали, пытаюсь слиться с досками дна фургона — затем снова с силой воткнул штык в дно повозки. И вновь вытащил его с той же нерешительностью и осторожностью и вышел наружу. И вновь двинулся фургон и завертели его колеса. "Патруль-то был подмазан, — сказал в темноте один еврей, — все это было только для отвода глаз". Обитатели фургона несколько оживились и начали переговариваться между собой громче, кто-то даже дерзнул бросить насмешку по поводу этого штыка, так и не наткнувшегося ни на что. Колеса и ось повозки, по-видимому, были

недостаточно смазаны. Они все скрипели и скрипели. Решительный час приближался. Успех или провал? Теперь сердца начали колотиться. Не от страха. От неизвестности.

Глава III

В ДОБРЫЙ ЧАС

Все имеет свое начало и свой конец. Не вечно будет скрипеть и вздрагивать подо мной это изголовье от толчков колес. Давно умолкла болтовня моих соседей. Похоже на то, что они спят или молча в темноте сводят счеты с миром, подобно мне. Повозка взбирается теперь вверх по холму — замедлился ее ход, она выписывает полуокружности на поворотах. Вдруг она вроде бы застряла в глубоком песке и остановилась. Извозчик слез с облучка и несколько раз похлопал себя руками, пытаясь согреться. Зашуршала солома над нами, циновку откинули в сторону, на мое лицо посыпались брызги влды, хлынула струя холодного воздуха.

— Выходите, приехали! — скомандовал гой-проводник низким голосом, предупредив: — Не курить, не зажигать спичек, не разговаривать!

Мои соседи начали тяжело и медленно расправлять свои затекшие руки и ноги и высвободиться из своего заточения. Мы находились на опушке соснового леса, деревья шелестели на ветру, а ветви обдавали нас сверху струйками воды. Мы вновь выстроились в одну колонну, проводник шел впереди и указывал путь. Мы шли по песчаной тропинке, извивавшейся среди лесной хвои, отвердевшей и набухшей от дождевой воды. Ноги скользили на подгнивших иглах. Неподалеку справа в тумане поблескивали искорки огня в окошках крестьянских изб. Мы проходим по маленькому

селу, и порою видно, как перед нами, то поднимаясь, то погружаясь, движется манящий фонарик. Кажется, все спокойно вокруг. Так шагаем мы в ночной стуже, я с удовольствием ощущаю уверенность своего шага, и спящая на моих руках девочка согревает мне грудь.

Подведя нас к длинному и высокому гумну, проводник постучал в ворота, и когда они открылись, при свете маленького фонаря глазам предстала вся толпа изгнанников, наших собратьев по скитанию, которые уже собрались здесь и лежали черными тенями на золотистой соломе. Каким образом прибыли они сюда? Откуда? Много дорог ведет к границе, и не только две наших повозки вышли в ту ночь из местечка Вольбрум. Черный Лазарь знает свое дело, он применяет тактику обхода и рассеивания своих сил перед их концентрацией и броском в наступление. Поскольку предостережение касалось огня, а не разговоров, то вскоре зашуршали скирды соломы и стали раздаваться голоса, у бывших обитателей повозок мигом развязались языки и зашевелились руки, и каждый в своей группке подробно описывал и изображал те чудеса и страсти-мордасти, которые приключились с ним по дороге. Оказалось, со всеми повторилось одно и то же. Их повозки тоже остановил приказ "Стоить!", отданный по-русски. К ним тоже вовнутрь проник штык, шарил в соломе и ничего не нашел. Ту же точность проявили дозорные патрули при взимании своей доли, не дали Черному Лазарю увильнуть от них и провезти хоть одну повозку безвозмездно. Кто-то приблизился к фонарю, наклонился над ним, вытащил из тайников своей одежды какой-то завернутый в тряпочку предмет, тщательно всмотрелся в него и заявил:

— Без четверти два.

После этого заявления громче стали оханья и причитания, раздававшиеся из соломы во всех концах гумна.

Я не ощущал ничего, кроме жажды, сжигавшей мои внутренности.

Однако через некоторое время ворота гумна наконец-то распахнулись с обеих сторон одновременно. Вошли четыре высоких мужика с каждой стороны и, слегка удивившись, остановились. Затем опустились на колени, сбросили с голов свои меховые шапки и несколько раз перекрестились скрюченными пальцами, в то время как губы их шепотом произносили слова молитвы. Теперь-то и начался, собственно, переход границы.

Лагерь беглецов был разделен на две части. Прибывшие на десяти повозках вышли через задние ворота, на других десяти — через вторые. Теперь было сделано строжайшее предупреждение: соблюдать осторожность и не разговаривать. И еще договорились о знаках: один свист означает — остановиться и ждать; два свистка — сорваться с места и бежать вперед изо всех сил. Мы на самой границе, она от нас на расстоянии в несколько сот локтей.

Мы шагаем молча длинной цепью по тропинке, все глубже уходящей в лес, и вершины деревьев обрушивают на нас иглы и брызги воды. Углубившись в чащу леса, мы услышали по одному свистку спереди и позади и выполнили условленное — остановились. Проводники молча проходили вдоль всей цепи, каждого мужчину и женщину подводили к дереву, приказывая обхватить ствол руками и прижаться к нему всем телом, соблюдать полнейшую тишину, не двигать ни рукой, ни ногой, не чихать, не кряхтеть и не стонать, ждать, затаив дыхание, когда будет дан сигнал. И вот стоим мы во мраке леса, организованное скопление деревьев и людей, прильнувших друг к другу, а ухо ловит всякий шорох и настороженно ждет движения.

Когда глаза начали привыкать к темноте и шарить в

ней, перед ними обрисовалась длинная линия голубого пространства, менее густого и менее темного, чем остальное пространство. Было ясно, что мы стоим наготове, выстроенные напротив рубежа, от которого нас отделяет расстояние всего лишь в несколько локтей. Вскоре и ухо научилось улавливать и распознавать приходящие звуки, догадываться об их источнике. В темноте послышался глухой шорох за этой линией по всей ее длине. Не слышишь, но все же оказываешься захвачен тем, что происходит там, словно тебе легким перышком провели по коже затылка. И вновь ясно: там стоит вторая половина нашего лагеря, погруженная в такие же раздумья и так же слившаяся в объятиях с деревьями, как и мы.

Откуда-то издалека донесся голос и словно повис в воздухе. Не то конское копыто стукнуло о камень, не то дерево вздрогнуло и уронило шишку. Но звук тут же повторился снова и остался висеть в воздухе, разросся и усилился и оказался уже очень близким. Теперь сомнениям не было места: всадники на линии границы. Они медленно продвигаются вперед, их сабли жестко ударяют о седла коней. И казалось, каждый ствол дерева, к которому мы прижимаемся, пробудился, и что-то затрепетало в нем в страхе. Мне даже удается установить число всадников. Их десять человек, выстроенных в пять пар. Офицер во главе строя. Мое дерево уронило шишку мне на ногу, и на мгновение мое тело оторвалось от ствола и вздрогнуло, отшатнувшись назад. Но тут же я вновь прижался к стволу грудью изо всех сил. Тем временем звуки стали глуше, позвякивание сабель нельзя было уже различить так ясно. Проехали. Стараешься уловить последний из шорохов, но не слышишь ничего, кроме шуршания вершины дерева над твоей головой и стука собственного сердца об его ствол. В этот момент воздух

пронзили два тонких свиста, низко, возле самой земли, и шорох стал похож на шуршание змей. Я обеими руками оттолкнулся от дерева, большими прыжками понесся к черте кордона и пустился бежать. Все мы бежим в страхе и беспорядке, даже женщины и старики. Мимо промелькнуло лицо одного из проводников, который сделал мне знак состязаться с ним в беге, я принял вызов и присоединился к нему. Мы скатились густой колонной в глубокую расщелину оврага. Слева и справа от меня падают люди, никто не обращает на них внимания. Ноги мои отяжелели, бежать невозможно. Я сгибаюсь и почти на всех четырех взбираюсь вверх по крутой стенке оврага, стараюсь прорваться сквозь чащу колючих зарослей и следовать точно за идущим впереди меня проводником. Наконец-то выбираюсь наверх. Вновь ногам стало легче, они шагают широким шагом по твердой ровной поверхности, горизонт перед нами расширяется, легкие расправляются и вдыхают воздух. Сколько времени шел я так, охваченный ощущением победы и счастья, — не помню. Дождь прошел. В воздухе стоит шуршание сосен. Весь мир открывает передо мною свои объятия. Но вот возле меня вновь прозвучал один свисток, требовательно и громко, а ноги уже миновали опасные места!

Все восемь проводников, толкая друг друга, как дети, выбежавшие из школы, столпились, настроение у них веселое, они закуривают, прикрывая огонек кулаком от ветра, и поджидают своих. Когда собрались все колонны беглецов, каждый пересчитал своих и стал впереди них. 120 душ, все как одна, на месте. Был отдан приказ, на сей раз словами, недвусмысленно и при всех, лечь на землю и пролежать четверть часа молча в лесу. Когда же раздастся свист, встать и направиться обычным шагом, спокойно и без страха, пока с рассветом мы не доберемся до села, располо-

женного в полутора часах отсюда. Я уселся на пень дерева, снял шапку и хотел привычным жестом поворошить пальцами свою шевелюру, но нашел только щетину стрижки. Я пощупал тайник на своей груди и услышал хруст спрятанных ассигнаций. Кошелек и две сложенных открытки в потайном кармане также были на месте. Итак, сам я цел и все мое богатство цело. Я закурил герцеговинскую сигарету, подарок Черного Лазаря при расставании. И по сей день, через 45 лет после этого, когда я переношу на бумагу свои воспоминания, не помню ничего, что было со мной, не чувствую ни радости, ни скорби, а лишь аромат этой сигареты, подобной которой мне никогда не приходилось пробовать.

Когда мы вновь двинулись, колонны направились несколькими путями. В моей группе осталось не более десятка человек, большей частью те, которые ехали со мной в одной повозке, в том числе и женщина с маленькой девочкой на руках. Черный Лазарь, по-видимому, слегка переборщил с дозой валерьянки, которую он дал девочке, и добавил лишнюю каплю: сон ее был очень глубок. За все время она ни разу не вскрикнула и не открыла глаз, так что мать уже начала тревожиться. Но в предрассветной прохладе и свежести шелеста деревьев она улыбалась во сне и сосала молоко из бутылки, так что и эта тревога развеялась. И вот шагаем мы по дороге — свободные люди. Столкнулись с австрийским пограничным патрулем, но он не задержал нас, не имел ничего против нас, сделал вид, что не видит, а кто-то даже приветствовал нас рукой. Затем патруль исчез, поглощенный лесной чащей. В стороне от дороги перед нами засветились окна крестьянских домов. Маленькие квадратные окна, на порогах домов стоят крестьянки с растрепанными волосами и с усмешкой глядят на нас. Пар струился из

изб и окутывал женщин в лучах рассвета во все цвета радуги. Мы вошли в обжитые места. Озимые посевы красовались бледной зеленью, чернели вспаханные нивы, готовые принять на себя бремя зимнего снега. Небо очистилось, и на западе стал виден кривой серп луны. На горизонте сверкал крест на церковной башне. Небо начало розоветь, разгонять темноту и голубеть.

Село, в которое мы вошли, оказалось большим и многолюдным, с рассветом его наполнило оживленное движение. Из всех переулков выгоняли скотину на пастбище. Во дворах крестьяне запрягали лошадей в телеги и понукали их. Из всех труб струился дым, покрывая копотью соломенные крыши. Наш проводник первый здоровался со всеми встречными, попадавшимися нам на пути. Один из них бросил ему:

— Доброе утро, опять ты привел к нам жидов!

Усмехнулся проводник, но ничего не ответил.

На околице села выделялся рыжий кирпичный дом, покрытый черепицей. Он стоял несколько отдельно от остальных и весь залит был светом фонаря "люкс", испускавшего пламя со странным жужжанием. Это здание служило трактиром для крестьян, пограничников и таможенников и постоялым двором для перешедших границу. Это наша последняя остановка в пути. Здесь мы угощали нашего проводника стопками водки до тех пор, пока он не напился и не стал отказываться. На постоялом дворе все было готово к нашему прибытию. Воздух был пропитан запахом кофе и горячего теста, аппетитно пахло жаркое. Нас обслуживал маленького роста еврей, одетый в черный альпаговый халат, длинный и потертый, так что на животе и рукавах остались лишь нити основы, сквозь которую просвечивала подкладка. Над его темной спутанной бородой выделялись красные щеки, отливавшие желтизной в свете лампы "люкс". Круглая плюшевая

кепка отбрасывала на них тень. У этого маленького еврея была своеобразная манера разговаривать. Что бы его ни спросили, он повторял сказанные слова с тоном большого удивления, словно только что угадал скрытую тайну; последний слог он растягивал, причем голос его становился тонким и высоким:

— Я хотел бы стакан горячего молока.

— Вы хотите стакан горячего молока-а-а?

— В котором часу отходит поезд на Круку?

— В котором часу отходит поезд на Круку-у-у? В девять с четвертью.

— Сколько крон можно получить за рубль?

— Сколько крон можно получить за ру-у-убль?

Хотя он казался полным дураком, все же курс кроны назвал очень низкий.

Хозяин постоялого двора собственной персоной вышел к нам после того, как мы позавтракали. На пороге кухни появилось его большое, надутое, как шар, брюхо, за которым почти исчезали бедра, и тяжесть которого отталкивала верхнюю часть тела косо назад. По животу был растянут широкий талес, ниспадавший до колен. Над ним, небрежно подвешенная, болталась трубка из фаянса с рисунком, изображавшим розы. Время от времени он посасывал трубку, держа ее в уголке рта и издавая при этом губами звуки "пшт, пшт", причем трубка покачивалась сверху вниз. На его круглой голове была лиловая ермолка, несколько шелковых ниток из ее вышивки отпоролась и прилипли ко лбу. Борода у него была странная, не как у всех людей, от уха до уха, а с плешинами на подбородке и щеках, причем главная масса волос росла снизу, со стороны шеи и затылка. У него был мясистый, синеватый нос любителя выпивки, разросшийся на старости лет и по форме круглый, как пуговица. Одет он был в хлопчатобумажный халат из

белой ткани с цветами, полы халата распахивались и развевались во время ходьбы. Прохаживался он с важностью, выдвигая вперед живот и как бы следуя за ним, вытягивая под ним шаг за шагом ноги, обутое в разноцветные сандалии, расшитые бисером. Выдвигал одну ногу, переваливался на нее, делал шаг и выставлял следующую ногу. Так, чинно и важно приблизился он ко мне и сильным голосом, исходящим из глотки, через которую прошло несметное количество вина, проговорил, взяв мою руку своей пухлой рукой и несколько раз встряхнув ее сверху вниз:

— С миром и в добрый час!

Глава IV

ПОМОЩЬ В ТРУДНЫЙ МОМЕНТ

Немного времени пребывал я в радости и ликовании по поводу успешной дороги. Предстоявшее мне отбрасывало свою тень на прошедшее. В чужой земле я, нет у меня адреса, куда обратиться, нет человека, с которым я мог бы посоветоваться, и даже не совсем ясно, правильно ли я поступил, направившись в Круку. Вновь я один на один со своей судьбой и своими раздумьями в это ненастное серое осеннее утро. Вагон поезда, в котором я сижу, весь забит евреями, ворвавшимися в него с громкими возгласами на одной из остановок, словно отряды бойцов, в своей форменной одежде. Странными кажутся мне эти галицийские евреи. Все как один закутались в халаты раввинов. Все отрастили длинные и курчавые бакенбарды; все пытаются казаться учителями и наставниками народа Израиля; все в белых носках, а на ногах не то сандалии, не то ботинки. Несмотря на это, из их разговоров и болтовни можно было понять, что они местные жители. На лавках рядом со мной сидела компания из пяти подвыпивших, занятая болтовней о пустяках. Поскольку окно было открыто, а за ним веял осенний ветер, из сигареты одного вырвалась искра, упала на брюки другого и прожгла в них дырку. Тут же все начали судить и рядить, пострадавший делал вид, будто требовал возмещения убытка. Прошло четыре дня с тех пор, как я оторвался от скамьи синагоги, но

поучения Торы еще звучали во мне. Ради подзуживания и щегольства я вмешался в их спор и произнес изречение о том, что нечаянно причиненный ущерб не требует возмещения. С удивлением подняли они глаза на говорившего, но смысла сказанных слов не поняли.

В раввинском халате, в плюшевой кепке на голове, в сандалиях и белых носках на ногах был и извозчик, сидевший на облучке на станции Крука, на повозке которого я подъезжал к постоялому двору. Станным, смешным и непонятным казался мне этот человек, все поведение которого было поведением извозчика, а внешний вид претендовал на обличье святоши. Забавно было видеть, как его бакенбарды, хвост лошади и пучок бахромы на кнуте развеваются в едином ритме в пространстве узких и кривых улиц города. Станным эклектичным созданием, но другого рода, был и хозяин гостиницы, куда я прибыл. Его черный лапсердак пожелтел на протертых местах; некое подобие плаща-редингота из блестящего шелка, какие носят протестантские священники, с длинными треугольными отворотами, подбитыми шелковой подкладкой. Над ними стелилась рыжевато-желтая борода, широкая и ухоженная, которую он часто расчесывал маленькой расческой, хранившейся в грудном кармане, словно каждый волосок имел свое место, и он возвращал его на это место, когда тот сдвигался. Глаза его нельзя было разглядеть, поскольку на переносице его крупного длинного носа красовались очки с зеленоватыми стеклами. Золотая цепочка тянулась из-за его правого уха, напоминая по форме согнутую руку, и терялась где-то в фалдах одежды. На голове у него была шляпа из черной ткани. Лицо слегка одутловатое, на лбу несколько складок, которые он так же время от времени поправлял, чтобы впадина была впадиной, а выпуклость выпуклостью, а не наоборот. Говорил он с

удовольствием, наполовину по-немецки, слова вылетали из его полных, свежих и красных губ, похожих на губы женщины или на вишню, застрявшую в проеме рта и оставшуюся непроглоченной. Усы его временами склонны были закрывать губы, но тогда хозяин гостиницы поднимал левую руку и движением большого пальца поправлял их, расправляя и проводя пальцем сначала направо, а затем налево, водворяя непокорные волосинки на место и тем самым вновь открывая взорам алую вишню своих губ. Он сидел под навесом орехового дерева, небольшие перила отделяли его от длинной полутемной сводчатой комнаты, служившей одновременно прихожей и гостиной. Перед ним была разостлана газета "Нойе фрайе прессе", от которой исходил еще кислый запах типографской краски. Вид этой газеты укрепил мое настроение, кое-что роднило меня с ней: ведь Герцль был одним из ее редакторов.

— Отдельный номер?.. Гм... Номера у нас фамильные, с двумя койками... — задумался хозяин, рассматривая свой блокнот.

— Разве число коек решает все?

— Решает? Нет, но вам придется заплатить на двадцать пять процентов больше.

Я принял его условия, и тогда он снял один из многочисленных ключей, висевших сзади него на доске, и передал меня в распоряжение швейцара, который проводил меня в отведенный мне номер.

— А вещи у гостя будут? — спросил он.

— Багажа нет, — ответил за меня хозяин гостиницы.

Швейцар не выразил удивления, лишь с удовлетворением усмехнулся и указал пальцем на стену. Это означало, что я прибыл отсюда. Мы поднялись по лестнице. Мой номер оказался просторным, хотя и с низким потолком. В толстой стене было единственное окно. Две койки были придвинуты к стенам, оклеен-

ным обоями — на фиолетовом фоне бумаги золотились грозди винограда. Легкий запах сырости исходил от стен, словно нарисованный виноград слегка прокис. Когда швейцар ушел, сразу же явилась польская дивчина с веселым лицом и пучком льняных волос, от которых веяло еще ароматом полей и воспоминанием о парнях ее села, окружавших ее, в то время как она обдавала их синевой своих глаз. Она тоже спросила, где мои вещи, тоже не выразила удивления по поводу их отсутствия, тоже указала пальцем на стену, как и швейцар, и сказала:

— Оттуда? Бьют, бьют москалей!

Она принесла воды в кувшине и полотенца и указала мне мою койку.

За ней пришел хозяин гостиницы с большим блокнотом под мышкой.

— Выполним "формальности", — сказал он с улыбкой.

Когда я назвал ему свое имя, он перестал писать, тронул нос двумя пальцами, поправил усы, оттянув их вправо и влево, открыв вишню в проеме рта:

— Имеете ли вы какое-нибудь отношение к тому Цеймаху, который перевел книгу "Рим и Иерусалим"?

— Это мой двоюродный брат.

— Какой коинциденц! Какой коинциденц!

Давид Цемах, который перевел книгу Моше Гесса "Рим и Иерусалим" на иврит, просидел когда-то в этой гостинице более шести месяцев. Дома я слышал, что он отправился в Круку, так как у него возникли неприятности с ковровой фабрикой, обанкротился, вынужден был бежать из страны и отсиживаться здесь, пока его отец рассчитается с кредиторами. Таким образом, я попал как раз в ту гостиницу, где жил близкий мне человек — это добрый знак: наконец-то я в таком месте, где меня знают, и я не так уж бесприютен.

— Очень приятно, очень приятно, тот Цеймах был очень ученый человек, очень, очень порядочный, — и пропустил все следующие пункты анкеты, пока не дошел до вопроса "куда едет?". Я смутился и не знал, что ответить.

— В Эрец Исраэль, — пробормотал я.

— На всякий случай напишем Триест. Здесь не соблюдают строгостей, это формалитет для полиция, — записал что-то и отстал от меня вместе со своей бородой и своим блокнотом.

После того как за ним закрылась дверь, я проверил сохранность моего имущества, умылся пронизывающе холодной водой, разделся, бросился на подушку и погрузился в пуховую перину. Я немного подумал об этом городе под названием Триест: по-видимому, необходимо, чтобы я направился туда, а я не знаю, каким образом до него добраться. В этих раздумьях я вскоре задремал. Разбудил меня стук в дверь, и вновь вошла польская дивчина с запахом лугов в своих золотистых волосах, со своей усмешкой и приветствием "доброе утро". Я понял, что миновал один день и наступил другой. Я проспал в Круке 16 часов подряд.

После завтрака в столовой, расположенной в подвале, я поднялся в сводчатую гостиную и уже нашел там хозяина гостиницы, сидящим за перегородкой, со столь же тщательно расчесанной бородой и разложенной перед ним газетой "Нойе фрайе пресе".

— Доброе утро, хорошо выспались, господин Цеймах?

— Прекрасно.

— Лезен зи дойч?

И показал мне в газете, что в минувшую ночь закрыли границу между Австрией и Россией из-за

беспорядков, вспыхнувших в горах Домбровы. Поистине счастье улыбнулось мне, и я убрался в последний момент. Передо мной стояли две серьезные задачи: обменять 53 "лишних" рубля, имевшихся в моем кошельке, на кроны и выяснить, каким образом можно проделать путь в Эрец Исраэль из этой самой Круки. Хозяин гостиницы с большой тщательностью, острым готическим шрифтом с завитушками, описал мне месторасположение конторы австрийского Ллойда и дорогу, ведущую туда. Он записал даже курс рубля в этот день, указанный в газете, чтобы конторские меня не обсчитали. Я вышел на улицы города под брызги осеннего дождя.

В конторе Ллойда меня принял низкого роста чиновник, говоривший по-немецки и, по-видимому, очень тщательно следивший за состоянием волосистых частей своего лица. Стрижка у него была в форме каски, концы усов были завиты и загнуты кверху а-ля кайзер Вильгельм, борода заострена на конце подбородка в стиле Бонапарта Третьего. Рубли он тут же обменял на кроны, и следует поставить ему в заслугу, что обмен он произвел по курсу, указанному хозяином гостиницы. Однако в поездке в Эрец Исраэль из Круки и дальше возникли затруднения. Оказалось, корабль на Восток отплывает каждую среду, а теперь четверг, так что отплытия корабля надо ждать семь дней. Цена проезда от Круки до Яффы — столько-то. По пути мне следует остановиться в Вене и направиться на Тюркенштрассе, № 9, там сионистская организация даст мне рекомендацию для турецкого представителя, чтобы тот поставил въездную визу на моем заграничном паспорте, что откроет передо мной въезд в Яффу.

— Но у меня нет такого паспорта, — сказал я озабоченно.

Он поднял на меня лицо с его царственными волосами, со своими вильгельмовскими усами и бонапартовской бородой и посмотрел на меня изучающим взглядом:

— Господин прибыл оттуда?

— Да.

— Фрейлейн Женя, дайте мне, пожалуйста, инструкции Ллойда.

Секретарша Женя, сидевшая за соседним столом, погруженная в свои расчетные книги и все же улавливающая каждое сказанное слово, поднялась со своего места и оказалась меньше, чем выглядела, когда сидела на своем высоком стуле. Ее милые карие глаза излучали на меня откровенную симпатию. Она подала своему начальнику инструкцию, а он попросил ее подождать и не возвращаться на место. Чиновник просматривал параграфы и примечания, приговаривал что-то про себя, потряхивал своими каскообразно подстриженными волосами. Затем ткнул пальцем в один из пунктов и начал объяснять мне его содержание:

— Если у господина нет иностранного паспорта, то я не вправе продать ему билет в Палестину в одну сторону, разве что он уплатит Ллойдю тройную цену за билет из Яффы до Триеста: ведь если ему не разрешат сойти на берег, то он будет отправлен на том же корабле обратно в Триест за его счет. Но если он благополучно сойдет в Яффе, то мы вернем переплаченную сумму.

Слова горькие, как полынь. Но Женя все время подавала мне знаки через похожую на каску голову своего начальника, погруженного в инструкцию Ллойда, чтобы я не обращал внимания на него и его слова. Я

нашел отговорку и не закончил сделку. Не успел я закрыть за собой дверь конторы, как кто-то дернул ее за ручку с другой стороны. Женя со своими милыми карими глазами вышла следом за мной в коридор, покрасневшая и задыхающаяся от спешки, и с большим волнением ловит меня за руку:

– Направляющийся в Палестину... Не покупайте билет здесь... Я состою в обществе "Рут"... приходите на место, указанное в этой записке... поможем вам...

Сунула мне в руку кусочек бумаги и исчезла. Вновь пришел мой таинственный спаситель и протянул мне руку в трудный час. А я-то уже решил, что поскольку у меня нет иностранного паспорта, то вот передо мной закрылись все ворота: ведь чужой я в Круке, бесправное существо. Но вот в руках у меня эта записка с названием кафе и указанием времени встречи – 5 часов пополудни. Неведомо откуда на моем пути выросла эта Женя, состоящая в обществе "Рут", и протянула мне руку помощи. Не оскудел Израиль!

Стенные часы на одной из башен показывали половину одиннадцатого. Времени впереди еще много. Зашел в парикмахерскую, где меня побрили. Пошел на почту и отправил открытку другу в родной город: "Шалом! Вперед!" – и подписался. На открытке будет штампель Круки, который засвидетельствует, что я, слава Богу, уже по ту сторону границы.

Небо начало проясняться, подсыхавшие булыжники мостовой отливали серебром. Много спусков и подъемов в этом городе, есть в нем дворцы и могилы королей, старинные церкви с башнями. И много-много евреев. На сердце у меня было хорошо. Человеку не дано знать, отчего делается легко у него на сердце. Может быть, мою душу опьянила свобода, которой я вкусил. Я нахожусь там, где человеку разрешают спать в гостинице без паспорта, я прохаживаюсь по улицам

без опаски. Рассеялся тот страх, который житель России всегда носит в себе. Вернувшись в свою гостиницу после двухчасовой прогулки, я был словно пьяный. Волна ликования, волна уверенности и веры поднялась из глубины души и затопила меня. Во мне всколыхнулись все дни моей юности, в крови смешались все мои прожитые 18 лет. И когда пришла девушка-полячка и спросила, намерен ли я спуститься в подвальную столовую на обед или хочу, чтобы обед доставили мне в номер, я начал легкомысленно расхваливать голубизну незабудок, цветущих в ее глазах. Она грубо оборвала меня. Объяснила, что в ней нет ничего дарового, все имеет свою цену:

— Это стоит в коронах... А это стоит... Даром я ничего не даю, даже произносить такие речи.

Слаб я оказался духом. Моя гостиница стояла на краю большой квадратной площади, вымощенной круглыми булыжниками и окруженной небольшими домами. От этого места разветвлялось несколько улиц, ведущих к центру еврейской общины с ее знаменитыми синагогами и ешиботами. В конце площади — двухэтажный дом с длинной вывеской, на которой сквозь сумрак рано темневшего осеннего дня блестели буквы "Э-з-р-а". Поскольку у меня еще был свободный час до встречи в кафе с Женей, мне захотелось увидеть, что это за дом. Четыре буквы, красовавшиеся на его вывеске, имели для меня большое значение — так назывался молодежный союз в моем родном городе, "Союз Эзра", пользующийся славой во всей Польше. Я был одним из его основателей и лидеров. Даже само название "Эзра" было придумано мной, и ему придавался глубокий смысл. Были выступавшие против этого названия, подозревавшие меня в том, что я окольным путем пытаюсь протащить свои позаимствованные у Ахад-Гаама взгляды, и только после

длительных и нелегких дискуссий дело было решено в мою пользу. Мое путешествие в Круку по сути дела было не чем иным, как миссией от этого союза: посетить Арец и проложить путь следующим за мной. И вдруг это название здесь перед моими глазами, в самом сердце чужого города. До чего узки тропы мира!

Этот двухэтажный дом оказался библиотекой общины. В течение всех дней, проведенных в Круке, я просиживал там долгие часы. Но в это послеобеденное время дом не был открыт для читающей публики, а занят молодежью, для которой он служил штабом комитета. Кто же та живая душа, которая приводит здесь все в действие? Секретарша Женя из конторы Ллойда. Вот она сидит за своим столом, и перед ней длинная очередь из юношей и девушек, щеки ее цветут румянцем, а маленькие руки проворно принимают и подают книги и журналы, записывают, приближают и отстраняют. Мне очень нравилось смотреть на нее, занятую этим делом. Может быть, Бог смилостивится, наверняка смилостивится, и эти добрые руки дадут мне столь желанный иностранный паспорт, и я отплыву с ним в Триест. Я потихоньку отступил, чтобы она не увидела меня, и вновь вышел погулять по улицам города.

Я оказался первым в кафе, адрес которого был указан в записке. Сел на место неподалеку от входа и стал изучать каждого входящего. Много евреев всевозможного обличья прошло передо мной, но маленькой округлой фигурки Жени, ее рассеянного лица со вздрагивающими ресницами и непокорных волос, не подчиняющихся приглаживающим их пальцам, не было видно. Но вот мое внимание привлек небольшого роста

молодой человек, бледный, светловолосый, с уже заметными признаками облысения и большими серыми глазами. Я увидел, что он замешкался у входа, осмотрел весь зал, переводя взгляд с одного из сидящих на другого, пока не остановился на мне, улыбнулся мне, как знакомому, поздоровался, подошел ко мне и сказал:

— Вы ждете, господин, фрейлейн Женю?

Он говорил со мной по-польски. У меня еще не развеялась та осторожность, которая присуща всякому человеку в России, и я не спешил с ответом. Он почувствовал мою нерешительность и добавил:

— Меня зовут Самуил Гирштейн, я член комитета студенческого общества "Хашахар". Женя пригласила меня сюда по делу, связанному с вашей поездкой.

Он сел за мой столик. Как он узнал меня? Очевидно, что-то в моем лице и поведении выдает меня. Так или иначе, этому Гирштейну все известно: я прибыл из России, направляюсь в Эрец Исраэль и у меня нет заграничного паспорта. По его словам, не стоит особенно беспокоиться. Документы — это сушая безделица. Найдется кто-нибудь из членов "Хашахар", кто даст мне свой паспорт. Возможно, даже он сам. Слова его были исцеляющими, как бальзам. Почему он так сочувствует мне? Я не знал. Но голос его был так приятен. И когда вошла Женя, рассеянная и деловая, с опозданием на полчаса, и присоединилась к нам, дело мое было уже слажено. Тем временем в беседе со мной Гирштейн крепче уверился во мне. Он больше не колебался. Завтра он пойдет в правительственное учреждение и возьмет иностранный паспорт для меня. В Австрии это просто. Из Яффы я верну ему паспорт по почте. А теперь мне остается лишь сидеть спокойно пять дней в Круке, до следующего понедельника,

поскольку мой корабль отплывает лишь в среду в четыре часа пополудни. Все надежно и слаженно. Волосы на голове Жени еще непокорнее под ее приглаживающими пальцами, а карие глаза так и лучатся.

Как хороши шатры твои, Иаков.

Глава V

К ЦЕЛИ

Мой отъезд из Круки поездом в Вену в понедельник вечером происходил торжественно, при большом стечении народа. Не чужим оказался я в этом чужеземном городе, не стучащимся в двери за милостыней: среди братьев и друзей сидел я, и каждый пожимал мне руку. По вечерам я ходил на собрания, слушал речи и ораторствовал сам. В дневные часы девушки из общества "Рут" водили меня по магазинам, учили, как покупать рубашки и белье по дешевке и тщательно проверяли качество и вид покупок. Мой кожаный чемодан, подарок общества "Хашахар", с вырезанными инициалами на иврите, постепенно наполнялся всяким добром. Комитеты, их секретари и просто товарищи, юноши и девушки — все старались для меня: одни водили меня в старую синагогу, другие — в королевский дворец Вавель и старинный собор. Казалось, паренек из России, попавший в их среду и возложивший на них заботу о его путешествии в Эрец Исраэль, всколыхнул их скуку, и еще в большей мере, чем они благодетельствовали, они были мне благодарны за то, что я наполнил содержанием их свободное время. Самуил Гирштейн привел меня на субботнюю трапезу в дом отца, чтобы родители познакомились со мной, и убедились, в сколь надежные руки отдается на хранение его паспорт. Перед этим его родные возражали против его поступка, который они считали легкомыс-

ленным. Я ел рыбу и паштет, пел псалмы и приправлял свою речь изречениями из Торы и перед благословением пищи произнес "С разрешения хозяина дома". Победа моя была полной.

На перроне железнодорожной станции столпилось много парней и девушек. Женя очень волновалась. Вероятно, она в те дни перепутала все счета в своих бухгалтерских книгах в конторе австрийского Ллойда. Она принесла мне однотомник произведений Гете; эта книга была моим неизменным спутником много лет подряд во всех поселениях Иудеи и Галилеи, пока она не сгорела во время пожара в Седжере. Самуил Гирштейн устроил мне хитроумный экзамен под открытым небом среди толпы провожавших, чтобы убедиться, что я твердо заучил данные его паспорта — имя, фамилию, возраст, профессию. Он спрашивал: "Как вас зовут?" Я отвечал: "Самуил Гирштейн" — под общий хохот окружающих. Но когда пришел час войти в вагон, и уже завертели колеса пыхтящего паровоза, я смотрел из окна своего купе, украшенного цветами, и протягивал руку навстречу множеству тянувшихся ко мне рук — вдруг все распрямились, расправили плечи, и торжественно-ликующе при свете фонарей и на глазах у всех гоев грянула песня "Еще не потеряна наша надежда"*.

Сильное волнение охватило меня, и слезы заструились из глаз в темноте, сгустившейся надо мной.

С этого момента и до того, пока мои ноги ступили на берег Яффы, я уже не был тем, кем был, а другим, выдуманным человеком, одним для себя и другим для других. Во всяком месте меня назовут чужим именем, указанным в моем паспорте. Суровость этого дела с паспортами нагоняла на меня странную нерешитель-

* Первая строка припева национального гимна "Хатиква".

ность, похожую на сердечную слабость, предобморочное состояние. Тоскливо ныло в груди из-за этого положения раздвоенности, колебаний и необходимости все время быть на страже и казаться тем, кем я не являюсь. Но в австрийских поездах не требуют паспортов, так что я благополучно прибыл в Вену в пять часов утра без каких-либо происшествий. Завеса редкого дождика колыхалась в пространстве улиц, и капли вокруг фонарей окрашивались во все цвета радуги. Я сдал чемодан в камеру хранения, сел в зале ожидания и стал читать "Идеал и действительность" Гете. Но чтение мое поверхностно и отрывочно, глаза с нетерпением смотрят на стрелки часов в ожидании, когда они приблизятся к девяти. Когда подошло время, я нанял пролетку и бросил в спину кучеру: "Тюркенштрассе, № 9". Я с трудом узнавал свой собственный голос. Все прошлое человека, его ощущения, вся организация его мира держится на символах названий мест и имен, велико для него их значение, и чем больше сгущается туман над событиями, тем более чутко отзывается сердце на полузабытые названия. На протяжении многих лет подряд название этой улицы вместе с номером 9 было для меня светочем во тьме, источником помощи, поставлявшим мне силы и указывавшим путь в круговороте жизни.

Под морозящим дождем темный дом имел мрачный вид. В его помещении было сумрачно, пусто, тихо и сиротливо. Прислужник (не тот ли самый, который прислуживал Герцлю?) проворно провел меня к секретарю. Передо мной оказался мясистый еврей, похожий на откормленного вола, лицо его лоснилось красными щеками, и гладкий лоб плавно переходил в большую лысину. Он посмотрел на меня прищуренными карими слоновьими глазками, которые быстро переводил сверху вниз. Спросил, где мои вещи. Я ответил. Он

достал с полки бланк, взял перо, обмакнул его в глубокую чернильницу (в жизни не видел подобной чернильницы!) и начал допрос:

— Как зовут господина?

Дух чудачества вселился в меня, и даже в этом месте я не расстался с вымышленным человеком во мне и ответил:

— Самуил Гирштейн.

Он проворно отбросил перо, воздел глаза кверху, положил свои короткие руки на стол и стал спрашивать дальше бесстрастным голосом:

— Так. А откуда?

— Из Круки.

— Так. А на какой улице господин живет в Круке?

В голове у меня все хранилось в точном порядке, и я назвал ему улицу.

— Так. А как зовут его отца и мать?

Я сказал.

— Так. А профессия?

— Студент юридического факультета.

— Разрешите посмотреть ваш паспорт?

Я положил перед ним паспорт. Он начал просматривать его, поворачивать его, поворачивать во все стороны, ощупывать его. Подошел к окну и стал рассматривать на свет водяные знаки на его страницах, затем вернулся на свое место, выдвинул ящик стола, положил туда паспорт и тем же бесстрастным голосом сказал мне:

— Обманщик вы, уважаемый господин. Я сейчас же звоню в полицию.

— Как же так?!

— Очень просто, обманщик вы, и паспорт ваш краденый. Мое имя Беркович, а Самуил — сын моей сестры.

Беркович?.. Беркович?.. Не тот ли, что написал

”Мошке — хазир”? Охваченный раздумьями, я спросил:

— Не вы ли, ваша честь, перевели на иврит ”Государство евреев”?

Что-то человеческое загорелось в маленьких слоновьих глазках, и морщинка толщиной в волосок пролегла между лбом и лысиной.

— Да, я.

— Разрешите обратиться к вам на иврите? — пытался я задобрить его уловкой.

— Конечно, можно.

Я вытащил из потайного кармашка на груди две открытки, одну от Соколова, вторую от Смилянского, эти дорогие мне открытки, которые уже раз были моими добрыми ангелами в трудный час, и положил их перед ним. В отличие от бендзинского парикмахера господин Беркович знал ”лошн-койдэш”, и когда он начал читать их, морщинка между его лбом и лысиной стала глубже. Много слов произнес я перед ним на иврите, о, до чего же я старался на сей раз блеснуть знанием языка, рассказывая ему всю свою историю! Хорошим признаком было уже то, что он не прерывал меня. И хотя дух его еще не смягчился, все же мой рассказ рассеял его гнев. Слова мои дышали правдой, и даже секретарь Экзекутивы (исполкома Всемирной сионистской организации) не мог устоять перед ней. Я вложил в свои слова немного хитрости и сказал:

— Господин Беркович, вы явились причиной этого и повинны в моем обмане наравне со мной: если бы не ваш перевод ”Государства евреев”, я не оказался бы здесь...

Нет на свете человека, неподдающегося на лесть. Наконец-то его слоновьи глазки начали смеяться.

— Вы делаете меня соучастником преступления, — сказал он. — Но все же вытащил паспорт из ящика

стола. И вновь этот злосчастный паспорт стал предметом осмотра и изучения. Вновь взял Беркович свое перо, обмакнул его в глубокую чернильницу и начал записывать данные по памяти, поскольку он прекрасно знал Самуила Гирштейна. В конце концов он отдал мне документ, а также подписанную и заверенную справку, удостоверяющую мою порядочность.

— Всегда он был легкомысленным, но это уже не ваша вина, господин Цемах, — сказал он и приветливо простился со мной.

Одним прыжком преодолел я четыре ступеньки выхода, остановил первую попавшуюся пролетку и направился к турецкому представительству. Там меня продержали два часа, пока не удовлетворили мое прошение, а когда оно, наконец, было удовлетворено, на моем паспорте поставили печать в форме полумесяца. Все та же пелена жиденского дождика висела над пространством улиц, не давая разгуливать по столице. Да и не до прогулок мне было. Удача бродила в крови, словно неперебродившее вино. В часы, когда сердечные порывы человека, его мечты вплетаются в ткань действительности с ее случайностями и событиями, нет в сердце места для постороннего, оно занято целиком собой. Я вернулся на вокзал, купил билет в Триест, и еще немало крон осталось в моем кошельке. С ликованием в душе я с удовольствием пообедал, услаждался тирольским вином. Купил газету. Полное поражение русских армий. Канун революции. Пылают по ночам помещичьи усадьбы, царский двор в смятении и страхе. Великий момент назревает. Но для меня приближается мой собственный маленький-великий момент, момент отъезда в Триест, и я знал: это моя последняя остановка, путь к цели открыт передо мной.

За всю ночь ничего не произошло. Не переставая, шел дождь. Взволнованные люди толпились у вокза-

лов, входили и выходили, сменялись пассажиры в моем купе. Все — рослые гои, крестьяне, с худыми, загорелыми и обветренными лицами, всю дорогу занятые едой. К поясам их были подвешены большие ножи с многочисленными лезвиями, и они деловито и степенно рассекали ими кольца колбас и фаршированных кишок, исчезающие затем под их густыми усами. Из своих зеленых кошелей они доставали бутылки вина и металлические круглые диски, чудесным образом превращавшиеся под их пальцами в стопки, в которые они наливали вино и пили. Они не заговаривали со мной, и я не нарушал молчания. По мере нашего продвижения к югу менялся их язык: меньше становилось немецкого и больше славянского. На рассвете в купе вошла семья словенцев: муж с женой и две дочери. Волосы у них были словно лен, глаза цвета речной воды. Как-то сразу, учув во мне российского еврея, они прониклись враждебностью ко мне. Сколько злобы оказалось в этой прозрачной голубизне глаз! До их глуши дошла весть о российском поражении и возмутила их дух. Вначале они всячески прохаживались по моему адресу в разговорах между собой. Повсюду, дескать, жида эти, еретики проклятые, крысы ненавистные. Затем начали приставать ко мне. Утверждали, что мой чемодан занял всю полку и не осталось места для их вещей; говорили, что от меня дурно пахнет и невозможно находиться со мной в одном помещении. Я не обращал на них внимания. Во всяком случае, на сей раз превосходство было на моей стороне. Уже занималось утро, и, согласно расписанию, через три часа мне предстояло прибыть в порт Триест.

Корабль, по трапу которого я там поднялся, был предназначен для перевозки грузов. Погрузка на него бочек и ящиков не прекращалась до самого момента отплытия. В одном из нижних трюмов, темных и

липких, в толще внутренностей корабля отвели место для сна и отдыха затесавшимся сюда четверем евреям. Воздух был пропитан душком заплесневелой селедки и гниющей сырой шерсти. Вокруг безбоязненно шныряли крысы, вертя серебристыми задами. Здесь был иерусалимский еврей в белом шелковом халате, равном и покрытом множеством жирных пятен, с расшитой золотом и серебром ермолкой на голове. С бородой и брюшком, краснолицый, с синеватым носом, он держался с большой важностью, но в его маленьких, заплывших маслянистым жиром умильных глазках не было и признака благочестия или самоограничения. Ходатай по общинным делам, он был привычен к разездам. Тут же стал доставать и расстилать подстилку и постельные принадлежности на низких дощатых нарах, лишь немного возвышавшихся над полом, по которому струилась вода из протекавших труб. Уже стоит в изголовье у него корзина со съестными припасами, и из нее выглядывают горлышки бутылок, словно красные головки гусей, отвозимых на рынок. По соседству со мной сидит женщина, приблизительно сорока лет, смуглая и волосатая, с низким грудным голосом и лишенными всякого выражения глазами. Несколько щетинок на ее подбородке, правда, не могут быть названы бородой, но все же они портят ее и лишают женственности. Она из Твери, соломенная вдова; муж ее бросил, скрывшись неизвестно куда. Она ездила разыскивать его и, не найдя, возвращается, пребывая все в том же своем соломенном вдовстве и возлежит теперь на подушках и перинах, вся — скорбь и стенание. Иерусалимский посланец уже начал делить с ней ее заботы, наставляя ее советами и ощупывать своими умильными глазками.

Третий в компании — статный плечистый парень с негустой растрепанной шевелюрой и голубыми на-

смешливыми глазами, длинным веснушчатым носом и полуоткрытым ртом, в котором между губами чернеет щель недостающего зуба. Брюки на нем длинные, и лишь тогда, когда он валяется на дощатых нарах, из-под них показываются сапоги. Странные это были сапоги, с закругленными носками, мягкие и желтые, какие я видел у владельца поместья Штейермарк. Еврей он или нет — я никак не мог понять. Но он оттуда же, откуда и я, в этом я был уверен. Рубашку он носил навывпуск, подпоясав ее красным шелковым кушаком с кистями на концах. Повадками он напоминал горьковского босяка и прохаживался по палубе корабля залихватской походкой бывалого матроса, широко расставляя ноги для бóльшей устойчивости, словно только что прибыл из одесского порта. Вещей у него немного. Все же на нарах у него постлано два одеяла, узел служит подушкой, а серый ворсистый плащ — покрывалом. У меня же нет ничего — ни подушки, ни одеяла, ни узла, лишь нарядный блестящий чемодан, который мне подарили члены общества "Хашахар" в Круке.

Горьковский босяк спрашивает меня по-русски:

— Что, у тебя нет ничего?

— Нет... Я не знал...

Он не выразил мне сочувствия и рассмеялся громким глубоким смехом: — Ладно, ладно, — будто мое бедственное положение доставляло ему удовольствие.

Редкий дождик, моросивший в порту, в открытом море превратился в проливной; прохладный ветерок превратился в бурю, обдающую льдом. Волны, перекачивающиеся по палубе, не давали выйти наружу. Оказываешься погребенным в брюхе корабля и погруженным в запах прокисшей селедки. Корпус корабля трещит, ритмично раздается треск спереди, за ним толчок вовнутрь и после этого сильное вздрагивание,

упорное и жестокое, затем короткая остановка, похожая на передышку. И снова треск, и снова дрожь, и снова пауза — все время в одном и том же ритме. Доски нар подо мной тверды как камни, бутылки в корзине посыльного передвигаются и их красные головки побрякивают одна о другую. Первым побледнел от качки горьковский босяк. Он обратился ко мне несчастные, жалкие глаза, словно молящие о помощи, а лицо его побледнело как известь. Он сбросил с себя накидку, втянул воздух, застонал и вытянулся на досках, причем его коричневые сапоги открылись во всю длину. Сразу после этого побледнели щетинки на подбородке соломенной вдовы, а ее узкие глаза начали закатываться и обнажать белки. Казалось, что она испускает дух на своих перинах. Выдерживал испытание только иерусалимский посланец, хотя и у него щеки потеряли румянец, а похоть, загоревшаяся в его глазках от соседства с соломенной вдовой, погасла. Он достал бутылку из корзины и сделал мне знак следовать за ним.

— Невозможно смотреть на эти лица, кишки переворачиваются; особенно если у тебя нет против этого ничего, кроме баночки сардин, стопки коньяка и половинки лимона на закуску, — сказал он с кажущимся высокомерием, но слова его прозвучали не особенно уверенно. Мы уселись на ступеньки и приступили к трапезе. Он был не молод и привычен к питью. Посреди еды он вдруг вскочил, словно его ужалила змея, неверными шагами направился к своему ложу, бросился на него и совершил непристойное действие. Мимо шел один из моряков, увидел меня сидящим с бутылкой и сказал что-то по-итальянски. Я налил ему стопку, он опрокинул ее прямо в глотку и опять сказал что-то по-итальянски. Ушел и вскоре вернулся, неся с собой одеяло и маленькую подушечку.

Я знал наизусть несколько стихов о море рабби Иегуды Галеви; как-то перевел на иврит стихотворение Гете "Стихи о воде". В море я отправился с большой торжественностью в душе. Но действительность оказалась вовсе не поэтичной. Качка время от времени, день сменяется ночью, бушующие воды и наш корабль — игрушка волн. Откуда извергли небеса такое множество воды? Где ветер насобирает такие вихри?

Все эти дни мои товарищи по путешествию валялись на досках нар в полном изнеможении, среди грязи и мусора, а я прислуживал им. Морская болезнь не свалила меня, я цел и невредим, крепок телом и духом. То выжимаю лимон в пожелтевшие губы соломенной вдовы, то кормлю и пою посланца, не отказавшегося от своего чревоугодия, несмотря на то, что пища недолго удерживалась в его внутренностях. Горьковский босяк совершенно высох. Он вытянулся и умоляющим голосом попросил снять с него сапоги. Теперь он лежит плашмя на нарах с посиневшими волосатыми ногами, уставившись затуманенным взором в потолок, и не берет ничего в рот, кроме кипятка, который я приношу ему из матросской кухни. У меня же пищи в изобилии — в трех корзинах, владельцы которых валяются в бессилии.

На седьмые сутки перед рассветом меня разбудил громкий скрежет. словно жернова размалывают внутренности корабля, сотрясают его и увлекают в морскую пучину. Торопливо забегали матросы. К моему большому удивлению, я не увидел своих попутчиков и испугался, не случилась ли с ними какая-нибудь беда. Так как я спал не раздеваясь, мне не потребовалось долгих приготовлений, и я взбежал по лестнице на палубу. Рассеянный свет стоял в небе, звезды бледно мерцали, и над ними склонялась полная луна. Полоса

сияния тянулась за кораблем, серебрясь в темно-фиолетовой воде, изгибаясь между волнами, делая зигзаги, похожие на золотых змей, и теряясь в таинственной дали. Несмотря на скрежет колес, безмятежное спокойствие стоит вокруг, и ухо улавливает каждый шелест волн, всплескивающих у борта корабля. Своих собратьев по трюму я нашел стоящими у парашюта палубы, веселыми, взволнованными и увлеченными беседой. Даже горьковский босяк в своем ворсистом плаще вовсю болтал на сочном диалекте украинского идиш. Мы приближались к египетскому порту Александрии.

Только при свете утра, после многочисленных маневров и проволочек, корабль остановился, труба его перестала извергать дым, и с борта был спущен трап на сушу. На широком пространстве передо мной под этими небесами и при сиянии этого солнца кипела разношерстная толпа, чужая, босоногая, полуголая, кричащая, в грязных хлопчатобумажных ермолках на головах, со смугло-красными руками, цветом напоминающими старую, отсыревшую черепицу крыш. Речь толпы кажется мне далекой, хотя иногда ухо улавливает обрывки слов, напоминающих что-то забытое. На Востоке нахожусь я, в окружении арабской толпы. Стою, взволнованный и потрясенный до основания. Вот она – первая встреча. Губы мои бормотали слова завещания помещанного Нахмана из "Куда" Фейерберга;* все мы, члены общества "Эзра", знали речь Нахмана наизусть: "...не только в Эрец Исраэль, а на весь Восток... и вы, мои братья, отправляющиеся

*Фейерберг Мордехай (1874–1902), писатель-просветитель, вышедший из хасидской среды и ставший горячим сионистом, призывал молодежь к любви к Сиону и сохранению преемственности, национальных традиций и идей Торы и пророков на возрождаемой родине в условиях пробуждающегося Востока.

теперь на восток, должны помнить всегда, что вы восточные люди с рождения. Теперь, когда весь Запад отправляется на Восток унаследовать владения ушедших, вы должны отправиться туда, чтобы оживить мертвое и построить здание нового общества. Нет у еврейства большего ненавистника, чем Запад, поэтому я думаю, что такой восточный народ, как еврейство, не может строить судьбу Востока с народами Запада...”

Такова была наука, которую я привез с собой из-за моря в Эрец Исраэль. Новое общество, весь Восток целиком. И вот мои ноги стоят на пороге этой великой цели, избранной сердцем. Солнце ударяет мне в голову, у ног зеленеет мутная вода, смешанная с истоками канализации. Щепки, обломки ящиков, мусор и гнилые фрукты распространяют зловоние. А вокруг снуют маленькие людишки с их маленьким лукавством в мутных глазах, гримасничают, как обезьяны, фигуры их гибки, как стебли тростника. На чужбине я. Добравшись до своей цели, я блуждаю в мире, не принадлежащем мне. Тяжелый камень лег на сердце.

Глава VI

РАЗРУШЕННАЯ МЕЧТА

Со мной в Александрии случилась небольшая неприятность, но я не ожидал, что она создаст мне осложнения после моего вступления на берег Яффы. Вот как было дело. К полудню на палубе стало жарко, а когда группа грузчиков с ремнями на спинах и мешками начала грузить уголь для топок машинного отделения, воздух напитался пылью, черной как сажа. Пыль прогнала меня вниз, в трюм, на мои дощатые нары. Все трое моих попутчиков были закутаны в свои одеяла и дружно храпели, лица их еще хранили бледность после шести дней страдания. В конце концов я тоже заснул и проспал довольно долго. Когда проснулся, солнце уже готовилось скрыться, и его большой лимонного цвета диск откатывался в водную гладь; уже завертелись колеса, поднимая со дна якорь судна. Мне захотелось встать и посмотреть на отплытие, но вот оказалось, что моих ботинок нет там, где я их поставил. Я стал искать их повсюду, но не нашел. "Наш трюм — место общего пользования, так что плакали твои ботинки", — сказал иерусалимский посланец, к которому вернулись говорливость и хорошее настроение. Что ж, пропавшего не воротишь. Босым ступлю я на землю отцов, поневоле исполнив тем самым завет "сбрось обувь с ног твоих"... Я смирился с этим и стал думать о другом.

Действительно, не до таких мелочей мне было. Уже посреди ночи я взял свой чемодан и перебрался на

палубу. С рассветом мы причаливаем у Яффы, и я не уступлю никому права увидеть ее первым. Происхожу я из семьи "митнагдим" ("отвергающих хасидизм"),* в которой об одном из моих дедов рассказывали, что он в первую пасхальную ночь снимал со стола два светильника, открывал ставни, садился у освещенного окна и демонстративно поддразнивая хасидов своего города, ел напоказ им вымоченную мацу. Но мой отец был из числа вернувшихся к ревностному служению еврейству, и я несколько лет, до того как стал атеистом, соблюдал все обычаи хасидизма. Помнится, когда я впервые возложил головной тефилин на свою собственную голову, то провел много времени в молитве, пока не начинал верить, что я устремил свое сердце к Отцу небесному, и пока не заливало меня целиком сладостное ощущение. Что-то наподобие такой полноты охватило мою душу и теперь. Я стоял на палубе, положив голову на край парапета, влажного от ночной росы, и приговаривал шепотом, словно давая

* Хасидизм – течение в еврейской религии, основанное в XVIII столетии рабби Исраэлем Шем-Товом под влиянием свирепых массовых погромов банд Хмельницкого в предыдущем столетии. Кровавопрлития и преследования привели к обнищанию народных масс и обострению классовых противоречий – с одной стороны, и с другой – к разжиганию религиозного экстаза, мистических тенденций и созданию теории, что истинное служение Богу диктуется сердцем, а не только разумом, и пути его разнообразны. Это породило обожание "цади́ков" – чудотворцев и соблюдение положенных заповедей посредством участия в религиозных пирушках и плясках, а также некоторое пренебрежение изучением Талмуда. Хасидизм возвысил простых и необразованных людей над учеными и богачами, заправилами общины.

Митнагдим во главе с Виленским Гаоном составляют оппозицию хасидам, исходя из опасений возрождения лжемессиа́нских чаяний, отхода от тщательного изучения Талмуда, увлечения попойками. Полемика была очень острой и порождала с двух сторон глумление и крайнюю ненависть.

выход тому, что теснилось в сердце: "В Эрец Исраэль... Новое общество... В Эрец Исраэль... Новое общество..."

Яффа встретила нас спокойствием моря, черные пророчества не сбылись, лишь глубока была тьма вокруг. Но сердце мое колотилось и трепетало, и великое сияние светило мне. Я зажмурил глаза, как делал, бывало, готовясь к молитве, так что заломило в висках, и стал раскачиваться вперед и назад всем телом, сосредоточился, направляя свои слова к суше, к востоку: "В Эрец Исраэль... Новое общество... В Эрец Исраэль... Новое общество..."

Когда я открыл глаза, что-то всколыхнулось перед ними. Лиловые дали словно удалились еще больше, золотистая пыль не то поблескивает, не то меркнет в них. И вот выплывает, трепеща, первая неясная, туманная линия, а судно как будто повернуло и бежит от нее; вот уже взгляд мой различает во мраке какую-то темную глыбу. Да, теперь я уверен, что вижу тени гор, позолоту их вершин, рассеивающих в тумане пурпурные испарения, тот лиловатый воздух, который скатывается с них вниз, в долины.

Кто-то кладет увесистую руку мне на плечо:

— Простудишься, — это горьковский босяк пришел предостеречь меня. Я вижу, что и он охвачен волнением. Сразу же за ним пришел посланец, неся свои постельные принадлежности, завернутые в коврик из козьей шерсти, белые и коричневые чередующиеся полосы которого напоминали концы талеса, и что-то кошунственное было в том, что талес валяется на земле, и никто его не поднимает. Его красная феска была нахлобучена под углом, к правому бакенбарду, с той же стороны болтались и концы черного шарфа. Лишь маслянистая пленка в его глазах была все та же. И соломенная вдова из Тверии тоже явилась, и хотя теперь на ней был черный шарф в ярких цветах, и она

оправилась от последствий бури, а бородавки на ее подбородке вновь приобрели красноватый оттенок, по-прежнему она была вся — скорбь и стенание. Несколько арабов, поднявшихся на корабль в Александрии и провалявшихся всю ночь на палубе так, что мы их не заметили, выскользнули теперь из-под своих черных халатов и стали без стыда разгуливать по палубе в белых кальсонах со странными складками сзади. Один из них сказал нам: "Яффа", — и показал на башню мечети, светившуюся огнями на фоне неба.

Еще до того как корабль причалил и стал на якорь, мы увидели рыбацкие лодки и шлюпки, стрелами устремившиеся к нему со всех сторон, и весла гребцов в лучах восходящего солнца отливали золотом. Море было спокойно, гладь его вод тяжело зеленела, словно масляный поток. Каким образом лодочники поднялись на корабль, откуда они взялись — неизвестно, но внезапно они окружили нас, стали визжать, хвататься за наши чемоданы и узлы, как будто даже угрожать нам, выкатывая сверкающие глаза и скаля белые зубы, стремительные и проворные, словно разбойники. Посланец и соломенная вдова тут же нашли с ними общий язык и сошли с корабля первыми, а мы с горьковским босяком продолжали еще чего-то ждать в общей сутолоке. Наконец, к нам подошел еврей лет сорока, смуглый, в белом костюме и со странной круглой шляпой на голове, похожей на каску пожарника в моем родном местечке, с двумя козырьками — сзади и спереди. Лицо у этого еврея было добродушное, глаза словно миндалины, усталые, затуманенные и печальные. Он сказал нам: "Шалом", — и подал моему собрату по кораблю бумагу — удостоверение, потрепанное по краям и до того потертое на сгибах, что держалось лишь чудом. Горьковский босяк был не очень-то большим грамотеем и передал бумагу мне. В

ней удостоверялось, что господин Коэн — человек, достойный доверия, хорошо обслуживающий гостей, и на него можно полагаться во всех делах, связанных с выходом на берег. Все это заверялось печатью уполномоченного одесского комитета.* Мы пошли за ним, вернее говоря, оказались схваченными руками лодочников, вертевших нами так и эдак, перебрасывавших нас, словно мячики, из рук в руки, пока мы не оказались сидящими в лодке, на скамье, застланной ковриком. Араб с широкой грудью, широкой физиономией, широким носом и широким ртом сидит напротив, лицо его расплывается от самодовольства, и кажется, что весь мир растягивается в ширину от горизонта до горизонта вместе с ним.

Лодка сразу же заскользила по воде. Тот же широкогрудый араб стал посредине, как кантор среди хора, и запел, а восемь гребцов вторили ему. Ритм напева был отрывистым, словно барабанный бой, совпадая с качаниями тел, рук и весел; с повышением или понижением звуков вёсла то глубже и длительнее опускались в зеленоватую воду, то быстрее и поверхностнее; слово "алла" не сходило с уст поющих. Я поражен и подавлен. Не такой ожидал я встречи. Сидим мы здесь, и наша работа делается за нас другими, как и во всем остальном мире. Мы посреди моря, словно военнопленные, отправляемые в ссылку. Слаженность и гибкость была в этих сверкающих медным отливом руках; много ловкости и лукавства было в этом змеином ритме тел, блестящих в пурпуре восходящего солнца; и было обидно, что так убого и сиротливо выглядят три еврея, попавшие в лодку гордых пиратов-завоевателей, распорядившихся самими собой и

*В Одессе находился комитет палестинофилов, представлявший легальное "Общество для содействия евреям-земледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине".

орудиями, что в их руках; и было очарование в их движениях среди пены волн и черноты пучины. Не кончил я еще озабоченно раздумывать над этим, как вновь был подхвачен их руками, словно игрушечный мячик, и вот уже ноги мои стоят на суше в Яффском порту. Встречает меня турецкий офицер с пергаментным лицом, на голове у него каракулевая шапка, а пряжка широкого кожаного ремня вокруг его талии расстегнута, чтобы ремень не жал его округлый живот. Вначале он проверил бумаги горьковского босяка, обутого в свои желто-коричневые сапоги, не придирался и без проволочек пропустил его. Но в моих бумагах он начал копаться. Ноги мои были босы и грязны, пиджак помялся от лежания на нарах, борода отросла. Офицер обратился ко мне на французском языке, которого я не знал.

— Почему ты бос, спрашивает завид*, — объяснил мне господин Козн.

Я рассказал, что случилось со мной в Александрии. Турок не принимал мои объяснения.

— Ты студент? — вновь перевел мне г-н Козн его вопрос.

— Да. Краковского университета.

Офицер вперил в меня свои маленькие насмешливые глазки, осмотрел меня, стоящего перед ним, во всем моем убожестве и разразился смехом:

— Студиан? Не может быть, какой же ты студиан! Невероятно, — поцокал он языком, еще раз повторил "нет", дал знак двум полицейским, стоявшим рядом, и ушел, забрав мой паспорт. Один из полицейских был слеп на левый глаз, ремень у него тоже был расстегнут, чтобы не сжимать округлое брюшко — таков, вероятно, обычай в этой стране; он приложился плечом к

*Завид — чиновник турецких властей.

моему плечу и оттер меня в сторону. Я еще успел увидеть господина Коэна, увлекаемого с моим чемоданом вслед за офицером, и твердящего ему что-то. Полицейские привели меня на небольшую вышку в углу портовой площади, отгоняя пристававших к нам мальчишек. Комната, в которую меня ввели, была пуста, с потрескавшимся цементным полом и пятнистым потолком, на котором серебрились нити паутины, и единственным окном с ржавыми решетками, открытым в сторону моря. Здесь стояли ободранная табуретка, сплетенная из стеблей тростника, и рядом с ней черный кувшин с водой. Я под арестом, но странный это арест, когда шаткая дверь вовсе не заперта. Долго просидел я там на подоконнике. Мачты рыбацких шлюпок мелькали и качались перед моими глазами туда и сюда. Рыбацкие сети золотятся, сушась на солнце, пробки на них напоминают бутоны цветов. Я слушал плеск волн, ударявшихся о стену моей тюрьмы, лепетавших что-то и возвращавшихся в море, отливавшее золотыми полосами. Тревоги мои потеряли остроту, улеглись, и я вообще перестал раздумывать о чем-либо. Но вот открылась дверь, вновь вошел тот же полицейский с незрячим зеленоватым глазом, смотрящим на меня с большим состраданием. Он принес мне маленькую кружку кофе. Я вынул из кошелька австрийскую крону и хотел вознаградить его за труды, но он воздел кверху обе руки, затем прижал их к груди в знак отказа и объяснил мне на ломаном жаргоне, что я его гость, а брать что-либо с гостя — не в его обычае, и вообще он пришел лишь принести мне благую весть о том, что "Муса Коэн" уже получил от завиды разрешение забрать меня из заключения. Я смотрел на это странное существо, на форме которого осталось не более одной медной пуговицы, а ноги были обуты в красные сандалии, словно он только что

вышел из спальни, и в облике которого не было ничего похожего на грубость и агрессивность полицейских, и хотя с виду он был неказист, но приятен в общении. Его поведение открыло мне еще кое-что. Хотя идиш, исходивший из его уст, был смешным, корявым и исковерканным, но говорил он на нем бегло. Значит, это (а не иврит) и есть язык, которым пользуются здесь евреи, и от них перенял его этот араб, стоявший передо мной. Вновь дала о себе знать горькая действительность, провела легкую царапину в душе и разрушила что-то в мечте, которую я привез с собой из-за моря.

Вскоре пришел господин Коэн, и на его грустных миндалевидных глазах был налет злости, а в руке — красная бумажка*, согласно которой мне разрешалось прожить в стране три месяца в качестве паломника: "десять франков содрал он с меня за это, свинья такая!" Подслеповатый полицейский понимал значение его слов и кивал в знак согласия с Коэном, что завид действительно свинья. Незрячий глаз его улыбался, и он открыл перед нами дверь камеры. Очарованием дохнул на меня прохладный день месяца Кислева, залитый сиянием, с прохладными камнями, скользящими под моими босыми ступнями. Мы идем по полутемному узкому переулку, и кажется, что два ряда домов, нависших над нами своими балконами, закрывающими небо, вот-вот обвалятся и похоронят нас под горами своих руин. Янтарно отливают в магазинах холмы апельсинов, лилово поблескивают длинные пучки редьки, зеленеют лимоны, золотятся смуглые финики в ящиках; запахи мяты, укропа,

* "Красная бумажка" — разрешение на временное пребывание в стране в качестве паломников, выдаваемое турецкими иммиграционными властями приезжавшим в Палестину иностранцам.

тимьяна пьянят голову. Овощи и фрукты разложены на прилавках с большой тщательностью и вкусом и почти образуют мозаику, многокрасочный яркий ковер. Вот он, Восток, думал я, с богатством своих красок и запахов – и потеплело на сердце.

В конце переулка, на квадратной площади, возвышается башня мечети, обветшалые купола которой покрыты слоем темно-зеленой ржавчины. Сегодня пятница, и целое море фесок движется к дому молебствий. На стороне улицы нас ждет карета, в которую впряжена пара серых коней с венками колокольчиков и гроздьями голубых кораллов на шеях. Мой чемодан кладут на облучок возле кучера. Когда мы уселись в карету, я растолковал господину Козну, что мне нужно еще устроить три дела, прежде чем мы направимся в его гостиницу: я должен купить обувь, сбрить бороду и сдать свои деньги в банк АПАК.* Господин Козн был человек больной, он несколько раз останавливался, когда мы поднимались по переулку вверх, и прикладывал руку к груди. Он решил, что у меня масса денег для помещения в банк, поэтому нечего скупиться – и вот к нашим услугам извозчик. Мы отправлялись из одного места в другое, от сапожника к парикмахеру, от него в банк, а теперь мы едем в его гостиницу.

– А где мой паспорт? – спросил я его.

– Остался в гумирике,** в порту.

– Но я обязан возвратить его владельцам в Круке...

Тот мигом понял, в чем дело, и откликнулся:

– А где красная записка?

Я отдал ему. Он ее разорвал и пустил красные обрывки по ветру.

* АПАК – сокращенное название сионистского банка "Англо-Палестинская компания".

** Гумирик – таможня (турецк.)

— Теперь восстанови твое подлинное имя, а паспорт мы за несколько франков заберем из гумирика. Какова же твоя фамилия, если не Гирштейн?

Я сказал ему.

— Сефардская фамилия или измененная?

— Да нет, наследственная, отцовская.

Вернув себе свое имя, я ощутил себя свободным человеком.

Господин Коэн относится к числу старожилков Яффы и ее уроженцев, его иврит весь пересыпан молитвами, а в гостинице соблюдается строжайшая кошерность. Мы вошли в большой и длинный зал с высокими стенами и потолком на деревянных перекладинах, покрашенных в светло-голубой цвет. В толстых стенах невысоко от пола пробито два узких окна, закругленных сверху, с цветными стеклами, забавно бросающими отраженные карминовые и желтые пятна в зал. За длинным столом сидело за трапезой несколько евреев из Иерусалима, одетых в халаты с продольными голубыми и золотистыми полосами. На другом конце сидело несколько крестьян из Экрона и Гедеры. На них были вязаные рубашки, забранные у шеи шелковыми ленточками-завязками с двумя маленькими помпончиками на концах, похожими на цветки одуванчика. Поля их шляп из коры пробкового дерева отбрасывали тени на их лица, не давая возможности разглядеть их.

Я выбрал себе место среди крестьян. Во мне тут же распознали новенького, только что прибывшего. Был среди них один низенького роста, с длинной бородой и сморщенным лицом, похожим на засохшее яблоко, и глазами, словно игольное ушко, острыми и скользящими вокруг со взглядом, полным открытой злобы. С виду придирчивый, он ел свой завтрак, хватая, отщипывая и отламывая куски своими кривыми мозоли-

стыми пальцами труженика, резкими движениями, словно ощипывая перья с птицы. Свой арак он разбавил водой, превратив его в мутноватую белую жидкость, отпивал по глотку этой известкообразной жидкости и всякий раз отодвигал от себя стакан, словно испытывая отвращение и сожалея, что пил из него.

— Зачем приехал? — вдруг обозлился он на меня. Я промолчал, не сообразив сначала, что эта злоба и эти слова адресованы мне. Но он не отставал от меня и сердито повторил:

— Зачем приехал?

— То есть... Не понимаю вас... — пробормотал я.

— Не понимаешь? Я так и думал. Конечно, не понимаешь. Еще немного — и поймешь. Сердце у меня разрывается, глядя на эту молодость, на эти силы...

Он говорил сначала на литовском идиш, закончил на иврите, глубоко вздохнул и проговорил, ни к кому не обращаясь:

— Шалопаи... бездельники...

Г-н Коэн почувствовал, что назревает буря, оставил на меня свои печальные темные глаза и начал переводить разговор на другое — на паспорт, который нужно выбрать из гумирика, на дилижанс на Ришон-Лецион, где для меня заказано место. В ходе этого разговора он отвел меня от стола и потихоньку рассказал, что этого придиричивого старика зовут Шахевич, что он из числа халуцов и старейшин Гедеры, человек большой учености, способный горы свернуть, пишет комментарии к Торе — словом, человек значительный во всех отношениях, земледelec, живущий трудом своих рук; да вот впал в "угандизм" и сделался его фанатичным приверженцем, так что нечего обращать внимание на его слова. Но его объяснение никак не укладывалось в моем мозгу и причинило мне сильную боль. Если таковы нравственный облик Шахевича и его прошлое,

то с чего же он вдруг стал ярим приверженцем Уганды? В душевном смятении, разочарованный вернулся я к столу заканчивать трапезу.

Когда я покончил с едой и рассчитался, было около двух часов. Г-н Коэн пошел проводить меня к дилижансу, отъезжающему в Ришон. Через дворы и площадки с ветхими строениями, с тесаными заборами и грудями мусора вокруг них, прибыли мы к квадратной загородке, где теснились в беспорядке повозки, фургоны, ослы, мулы и верблюды. Среди всего этого возвышалась одна карета с тонкими колесами и балдахином над ней, несколькими рядами узких скамей и занавесками по сторонам, известная в обществе под названием "дилижанс". Эта карета стояла в центре загороженной площадки, с упряжкой из трех измученных, тощих кляч и кучером-евреем Файвелем, маленьким, тощим и таким же измученным, как его лошади. Глаза его напоминали две черные бегающие точки, а лицо было сплошной сетью синеватых вен; рот его был разинут и горестно вопил со странным присвистом в конце каждого вопля:

— Суббота подходит! Суббота подходит! Канун субботы!

Несмотря на это, пассажиры не спешили, и мы не тронулись с места раньше трех часов.

Все скамьи дилижанса заполнились людьми, а промежутки между скамьями — мешками, узлами и пакетами с покупками. Здесь сидели крестьяне в их пробковых шляпах, затенявших лица, и крестьянки, одетые в черное, зажатые в свои корсеты, в соломенных шляпах всех оттенков. Одна женщина отличалась от остальных и разговаривала с дочерью по-немецки; это был странный немецкий, с резкими гортанными звуками курляндского диалекта. Две мои соседки по

скамье были очень нарядные и надушенные, вероятно, сестры, возможно, даже сестры-близнецы, поскольку походили они одна на другую не только лицом, но даже голосом и одеждой. Это были красивые девушки, брюнетки, с тонкими прямыми носиками, большими золотисто-карими, теплыми и удивленными, таящими в себе сверканье молний, глазами; высокими, полными, колышущимися бюстами, губками бантиком и нежными ручками с ухоженными ногтями и множеством колец с камнями на пальцах. Они бегло разговаривали между собой по-французски, гнусавя в свои орлиные носики и картавя по всем правилам. Это окончательно сломило мою душу: не такими представлял я себе сельских жителей Эрец Исраэль. Вновь пришла суровая действительность и провела легкую борозду по мечте, привезенной мною из-за моря.

Мы ехали среди Яффы, солнечный день Кислева окружал нас своим сиянием. Ветви деревьев, сгибающиеся под тяжестью золотистых плодов, нависали над живыми изгородями и образовывали навесы с обеих сторон дороги, которую и дорогой не назовешь: просто полосы насыпанной каменной щебенки, тонущей в рыхлой земле, которая поднимается в воздух тучей, окружающей нашу карету. А карета раскачивается, бренчит и звякает снаружи и внутри, а Файвель все время вопит, стегает третью лошадь и вновь взвывает кверху свой кнут, который от крупа скотины взлетает к навесу дилижанса, и тогда кажется, будто крупинки града колотят у нас над головами. Когда мы подъехали к развилке дорог и карета повернула вправо, перестали помогать вопли Файвеля и его удары кнутом: лошади разъединились, одна стала тянуть туда, другая сюда, колеса завертелись на месте, погружаясь в рыхлый песок, так что исчезла надежда, что коням удастся стронуть карету с места; по их спинам прошла дрожь,

словно они стряхивали с себя бремя тяги, головы опустились вниз, и глаза уставились в землю.

Файвель слез со своего облучка, а за ним вслед вышли из кареты все мужчины. Мы были рядом с пустырями Ришона, в песках, буквально на его подступах. Справа разбросаны его крутые холмы, вершины которых как будто покачивались, сверкая на солнце. Под курганами погребены развалины поселения, и кое-где еще темнеют силуэты сикоморов и смоковниц, подножья стволов которых уже поглощены волнами золотистого песка, а вершины остриями тычутся в небо и молят о помощи, словно люди, тонущие в море. Сдвинуть отсюда дилижанс можно только совместными усилиями животных и людей. Мы шагали и толкали карету, кто налегая сзади, кто нажимая на ободья колес, а Файвель проворно размахивал кнутом. Так шли мы долгое время, пока не начали рыжеть пески при заходящем солнце. Но вот грунт под ногами вновь стал твердым, и мы разулись, высыпали из обуви набившийся туда песок, вновь обулись и заняли свои места на скамьях в дилижансе. Лошади, почувствовав, что уже близки ясли с кормом в стойлах хозяев, приободрились и затрясли гривами. Вскоре мы оказались у околицы деревни, среди виноградников и цитрусовых плантаций.

— Что это за высокое дерево? — спросил я у одной из сестер-двойняшек.

— Эвкалипт.

Название и само дерево были мне незнакомы, но оно серебрилось со своей высоты, словно кивая верхушкой и приветствуя мой въезд в Ришон.

Глава VII

ПОРАЖЕНИЕ

Когда дилижанс въехал в деревню и остановился возле синагоги, его уже поджидали и тотчас окружили местные жители. Каждый вторник и пятницу кучер Файвель привозил из города газету Элизера Бен-Иегуды "Хашкафа" ("Обозрение"), выпускавшуюся в Иерусалиме дважды в неделю. Каждый торопился выхватить газету из рук Файвеля. Мне показалось, что люди почему-то необыкновенно взволнованы, так и горят нетерпением узнать новости. Наверно, случилось что-то из ряда вон выходящее. Уж не пал ли Порт-Артур?

Внимание мое привлек карликового роста еврей, энергичнее других старавшийся протолкнуться. У него были черные волосы, глаза с калмыцким разрезом, сидящие глубоко в глазницах, а цвет его лица, зеленовато-желтый, как лист старого пергамента, напоминал мне лицо турка "завида" в Яффском порту. Круглая бархатная ермолка прикрывала его лысину, борода была коротка, а подстриженные усы торчали гвоздями.

Этот маленький человечек так и кипел, и один из приехавших обратился к нему с возгласом, не дожидаясь, когда остановится карета:

- Выехала!
- В самом деле?
- Говорят же тебе — выехала!
- Ну, слава Богу.

Что здесь происходит и из-за чего волнуются, я узнал некоторое время спустя, оказавшись в маленькой гостинице, где на накрытом столе уже стояли наготове подсвечники, а хозяйка, одетая в субботнее платье, была повязана красиво обрамлявшим ее лицо, тщательно отглаженным белым платком, жестко накрахмаленные концы которого торчали в стороны из-под ее сморщенного подбородка, как уши кролика. Сюда тоже попал один экземпляр газеты "Хашкафа", и, заглянув в него, я увидел, что номер открывается большим жирным заголовком: "ТУРИСТКА ВЫЕХАЛА В ПУТЬ!" Я не мог взять в толк, что бы это могло значить и к чему вся эта паника; даже само слово "туристка" казалось мне чуждым, странным и лишеным ясного смысла. Но живой интерес крестьян к столь абстрактному известию мне очень понравился: значит, деревенские евреи вовсе не тупицы, не знающие, что творится в мире!

Хотя я и намеревался вначале отправиться в Реховот, чтобы посоветоваться с Моше Смилянским, куда пойти и чем заняться дальше, все же я остался сидеть в Ришоне. Открыв свой чемодан, поставленный возле отведенной мне койки, я переменял белье, переоделся по случаю наступающей субботы и пошел осматривать деревню. Солнце уже начало садиться, его последние лучи еще торопливо скользили по стволам и ветвям деревьев, освещая улицу, спускающуюся вниз от синагоги, и многочисленные телеги, тянувшиеся вереницей с полей. Группки запоздавших мужчин и женщин спешили за ними, словно овцы, возвращающиеся с пастбища. Их босые ноги были в пыли от известняковой щебенки, которой посыпана колея. На каждом возу сверху сидел еврей в пробковой шляпе с двойным козырьком и рядом с ним араб, укутанный платком. Когда воз подъезжал к воротам, крестьянин

на ходу соскакивал с него и исчезал в доме, как будто спеша скрыться от чего-то неприятного, а араб вводил телегу во двор, сгружал с нее рабочий инвентарь и распрягал лошадей. Но вскоре поток телег поредел, а затем совершенно иссяк, и на опустевшей улице стало совсем тихо. На террасе перед низким невзрачным домом, без садика или хотя бы кустика, сидел, удобно развалясь и сняв обувь, еврей лет шестидесяти, с орлиным носом и расстегнутым воротом рубахи, обнажившим волосатую грудь, с глазами цвета коричневого плюша, а перед ним пузатый самовар, и он пил кипяток из него стакан за стаканом. Где же я видел это лицо? Разгадку не пришлось долго искать: на пороге дома стояла одна из тех двух нарядных красавиц, которые были моими соседками по скамье дилижанса. Наверно, это их дом, а еврей, пьющий чай, — их отец. С другой стороны двухэтажного дома (и зачем только они строят такие высокие дома? Это вовсе не похоже на жилье скромных крестьян, какое я ожидал увидеть), на террасе, в скудной тени сиротливых реденьких деревьев, сидел тот самый карлик с калмыцкими глазами, который бросился мне в глаза в момент приезда. Он тоже пил кипяток и просматривал газету "Хашкафа", окруженный целой кучей девчонок, таких же чернявых, как он сам. Понемногу то из одного, то из другого дома начали появляться старики и спотыкающимися шагами засеменяли по дороге вверх к синагоге, что на вершине холма, где к их приходу уже успели зажечь все огни. Пошатываясь, взбираются они по ступенькам и переговариваются между собой. Я приблизился к ним.

Не замечая меня, все почему-то продолжали говорить о той загадочной туристке. Тут же на столбе висела дощечка, покрытая сеткой, а под ней объявление, гласившее, что сегодня в 9 часов вечера на

квартире у Бен-Зеева состоится собрание местных жителей, председателем будет г-н Фрейман, а г-н Юделович прочитает произнесенную в Филадельфии речь Зангвилля* в переводе на иврит. До чего прекрасны обычаи здешних крестьян! Отводят время для мудрых дел в вечер встречи субботы, вместо того, чтобы растрачивать его на безделье или просиживание в кабаке. Пойду-ка и я, посмотрю на это собрание.

В этот момент кто-то невидимый будто выхватил из воздуха отблески заката, и верхушки эвкалиптов поглотила темнота. Старики вошли в синагогу, где кантор выводил рулады, встречая наступившую субботу. Меж ветвей поблескивали огни, и на меня снизошел первый мой вечер под сенью этих небес, неся с собой размеренные волны прохлады с виноградников и песчаных пустырей. Что-то затрепетало в сердце, какая-то глухая, сдерживаемая боль, боль человека, все желания которого исполнились.

Когда я вернулся в гостиницу, там уже горели свечи в подсвечниках и люди сидели за ужином. Был тут и мой компаньон по комнате, работавший по найму на виноградниках, один из тех, которых в газете "Хашкафа" называли "кочевниками" — иными словами, один из новых иммигрантов, устремившихся сюда с началом войны между Японией и Россией. Убежденный вегетарианец, он строго соблюдал заповеди своего учения и макал свою лепешку в стоявшую перед ним миску с овощами. Он был из Крыма, говорил только по-русски, и хозяйка, особенно благоволившая к нему и

* Израиль Зангвилль (1864–1926), писатель, один из первых последователей д-ра Герцля среди британского еврейства. С появлением проекта Уганды стал его ярким сторонником и пропагандистом, а когда проект был отвергнут сионистами, основал Еврейскую организацию территориалистов, которая ставила своей целью отыскать на земном шаре другую территорию для поселения евреев.

выделявшая его среди остальных, увивалась вокруг него и старалась извлечь из закоулков своей памяти забытые обрывки фраз на хохлацком наречии. Фанатичный толстовец, этот человек, будучи призван в армию, отказался служить, исходя из требований своего мировоззрения. Нестриженные волосы его ниспадали с затылка на плечи длинными прямыми прядями. Рубаха на нем была из грубого холста, и даже обувь была из материи. Что-то монашеское было в его сухом лице с острыми скулами и маленьких глазках, горевших огнем того же фанатизма, что горит в глазах многих благочестивцев. Возле него сидел овдовевший местный крестьянин, шурин Моше Смилянского, атлетического телосложения и скромный, застенчивый характером. Он сидел с непокрытой головой, и высокий лоб его выделялся своей белизной на загоревшем до угольной черноты лице. Его тяжелые, загрубевшие руки с опухшими и искривленными от работы пальцами были обильно покрыты мозолями, в трещинки кожи этих рук с пожелтевшими ладонями въелась земля. Он тоже говорил по-русски, но был немногословен. Приглядевшись к тому, как он выскребывает свою тарелку, я подумал было, что он плохо видит.

Я спросил у него, где дом Бен-Зеева и можно ли мне пройти на собрание.

— Я тоже иду туда, — ответил он. — Пойдешь со мной. Ты, видно, новенький. Когда прибыл?

— Сегодня утром.

Он протянул мне свою скрюченную мозолистую руку и молча сжал мою ладонь.

Дом Бен-Зеева тоже оказался высоким, двухэтажным, с ярко светящимися окнами. Он был расположен на углу улицы, вблизи колодца. У дверей нас встретил хозяин, человек очень высокого роста; на его непро-

порционально маленькой круглой голове красовалась цветная жокейская фуражка с черным лакированным козырьком. На нем был серый костюм с множеством карманов, с пиджаком в обтяжку и брюками наездника, оттопыривающимися на бедрах и сужающимися от колен книзу. О нем поговаривали, будто он собирается покинуть деревню и отправиться в Австралию, поэтому начал одеваться в английском стиле. Бороду он брил, зато усы носил необыкновенно длинные, пышные и кучерявые, настоящие казацкие, как у Тараса Бульбы, с закрученными кверху концами, доходящими до бровей. В дополнение к этому он оставлял еще маленький, спутанный клочок бороды под нижней губой.

В просторном зале, куда нас ввели, уже собрались все почтенные жители вместе с их женами и дочерьми. Карликового роста еврей с калмыцкими глазами, с которым я столкнулся возле дилижанса, был теперь во всем черном и расположился в кресле, отгороженном от остальных маленьким столиком. По-видимому, он и есть тот господин Фрейман, председатель, о котором писалось в объявлении, висевшем на столбе у синагоги. Возле него я увидел рыжеватого молодого человека, узкогрудого и тщедушного, образованного, судя по внешности, бледного и болезненного, как всякий, кто не бывает на воздухе и вечно корпит над книгами. Какое-то мучение, какой-то гнев неудовлетворенности читался на его лице с немного приоткрытым ртом, с очками, прыгающими на крупном горбатом носу. В руках он вертел стопку листков, то скатывая их в трубочку, то разворачивая и просматривая, как это делает тасующий колоду карт. Без сомнения, это лектор, г-н Юделович, о котором говорится в объявлении, и благодаря ему мы удостоимся чести прослушать на иврите речь, произнесенную г-ном Зангвиллем в Америке.

Вокруг этого центра толпилась разноликая публика, шумная, болтливая, говорящая на русском, французском, идиш и других языках. Мужчины выглядели усталыми и неохотно вступали в беседу, зато женщины, очень важные и расфуфыренные, словно пришли на бал. Они затянуты в корсеты и облачены в длинные платья с множеством складок, сшитые по выкройкам, прилагаемым к статьям Хемды Бен-Иегуды о модах в газете "Хашкафа". Их темноволосых или белокурых дочек словно распирала льющаяся через край юная жизнерадостность, в их одежде царили нарочитая небрежность и смешение стилей, а в шумном и непринужденном поведении ощущалось влияние страны их рождения, ее жары, растопившей застывшие каноны "правил хорошего тона". Они носились туда и сюда, как ночные бабочки, а затем, втиснувшись в свои сиденья, без конца пересмеивались между собой.

Наконец, г-н Фрейман стукнул ладонью по столу и возвестил своим слушателям, что туристка, несмотря на все злые козни врагов, выехала ознакомиться с Угандой. Говорил он на невнятном идиш и не отличался ораторским искусством. Затем он обратился к рыжеватому молодому человеку и попросил его приступить к чтению. К большому моему изумлению, этот с виду столь слабый, бледный и тщедушный человек заговорил сильным, страстным голосом, стиль иврита был чистым, словарь — богатым, фразы — плавными, выражения — красочными. Все это в сочетании с сефардским произношением глубоко очаровывало. Вся душа моя устремилась за этой речью, смысл которой сначала совсем не доходил до меня, настолько сильно было воздействие чуда, свершившегося с этим языком, который воскрес из небытия и заявил о себе и своей живучести, о богатстве своего звучания и совершенстве структуры в пространстве этого зала, перед

лицом собравшихся здесь людей. Но постепенно туман в моем мозгу начал рассеиваться. Что-то неладное происходит здесь. С самого начала, когда г-н Фрейман таким торжествующе-победным тоном возвестил об уехавшей туристке. И почему глаза слушателей горят таким чуждым блеском? Откуда взялась в них эта враждебность? "Нет, лучше сионизм без Сиона, чем Сион без сионизма!" — гремит раскатистый голос Юделовича, и создается впечатление, что смысл изрекаемых им слов вполне согласуется с восприятием слушателей. Почему эти уставшие крестьяне, казавшиеся мне вначале полусонными, так разволновались, переглядываются друг с другом и мнут свои сигареты трясущимися пальцами? Почему вздымаются в волнении груди их жен, зажатые в тесные корсажи? Меня словно оглушило и обдало жаром. Почему они, не протестуя, слушают речи, в которых Сион отдается на позор и поругание?

Я не в силах был слушать дальше клевету Зангвилля, которую лектор выпевал на своем звучном сефардском иврите. Взгляд мой блуждал вокруг и ловил каждую капельку пота на лицах собравшихся, каждое их движение. Что происходит со мной? Померк мой мир, я закрыл глаза, безумный гнев метался во мне. "На пасхальном Седере мы восклицаем не только "В будущем году в Эрец Исраэль", но и "В будущем году свободными людьми!" Умолк сильный, проникновенный голос, наступила тишина. Затем на голову мне, словно лавина, обрушился гром аплодисментов. Я открыл глаза и увидел, что все собравшиеся — мужчины, их жены и дочери — стоят, и их аплодирующие руки так и мелькают в воздухе. Меня словно обдало струей вскипевшей крови, я ощутил себя необъезженным молодым конем, который, взбесившись, сломал оглобли, порвал упряжь и рванулся вперед, ощущая

только свои лягающие копыта. Вскочив с места, я вскричал: "Прошу слова!"

Мой выкрик упал в бурлящую толпу крестьян, как удар топора, рассекший волну воодушевления посередине. Председатель стал искать меня глазами по всем углам, все поворачивались ко мне со злобой и недоумением: дескать, явился сюда сорвать наше собрание, просили тебя... Г-н Фрейман посоветовался с лектором, сомневаясь, очевидно, следует ли предоставлять мне слово. В конце концов приговор был вынесен в мою пользу:

— Послушаем, что говорят новые "кочевники", — великодушно изрек председатель.

Мысли путались в моем распаленном мозгу. Не хотелось возвращаться к этой проклятой истории, именуемой "Угандой", так как взбаламученные ею воды уже успели испариться. Для меня, во всяком случае, этот вопрос был окончательно и бесповоротно решенным, стоящим за пределами спора. Но уродливость этого лживого спектакля и унижительность этих аплодисментов... Нет, обойти это молчанием невозможно. И я начал:

— Сегодня утром сошел я с корабля на берег и к вечеру прибыл под сень ваших деревьев, и один призыв звучал в моей душе:

О мать-земля широкая, просторная, ответь:

Готова ль душу бедную ты на груди пригреть?

Новый я, ноги еще в дорожной пыли, нет у меня еще никаких заслуг перед вами, но глаза мои зорки и видят все, что творится вокруг. В наивности душевной говорил я себе: пойду и найду своих братьев, первых, которые создавали и возделывали, не жалея своих сил, воздам им хвалу и благодарность, пожму руки, сделавшие это, с любовью и преклонением пожму их. И вот эти руки, которые я любил, будучи вдалеке, — эти

руки поднимаются без стыда и страха перед этими небесами и аплодируют словам вздора и клеветы, мерзости и осуждения, словам лжи и обмана. Горе глазам моим, видящим это, горе ушам моим, слышащим это! Но не речами воюют против безобразий и прямого предательства, а делами, действиями. При мне пара деятельных рук — против десятков ваших, бездеятельных и предательских!

Я поднял кулак и выкрикнул, потрясая им:

— Не смотрите, что я молод годами — я буду воевать с вами!

Моя речь все время сопровождалась взрывами смеха слушателей. Мой иврит, невнятный иврит польских евреев, у которых каждый "шурук" превращается в "хирек", каждый "камац" в "шурук" и каждое "церэ" звучит как открытый "алеф" с "юдом" за ним, а "ходем" — как протяжное "ой" — этот нескладный язык был, наверное, очень смешон. И все же, когда я закончил свою гневную тираду, все молчали, и на некоторых лицах даже читались смятение и стыд. Председатель снова стал перешептываться с лектором, словно стряхнув с себя благодущие и не зная, что делать с человеком со стороны, без зову явившимся и распоряжающимся здесь, как у себя дома. Так продолжалось, пока не поднялся один, ни у кого не спросив разрешения. Это был человек с плоским, как будто приплюснутым лицом, ноздри его широкого носа расплывались до самых скул. Что-то шутовское, обезьянье было в выражении его физиономии с часто мигающими ярко-красными, словно кровотокащими веками. По-видимому, он намеренно решил выступить, чтобы обратить меня во всеобщее посмешище. Он положил руку мне на плечо, какое-то время смотрел на меня снизу вверх, и само его стояние в таком виде возле меня уже могло позабавить присутствующих:

— Сегодня утром явился, — начал он на идиш румынских евреев, — и уже читаешь проповеди? ”Хициге ингелайт” (горячего нрава мальчишки) — это, конечно, очень мило, мы и сами в молодости были горячего нрава. А вот, что означает слово ”фибэр”, да, ”фибэр” (лихорадка), ты знаешь?

Он сделал паузу, ожидая моего ответа, и я бросил ему в лицо:

— Не струшу перед лихорадкой.

Он указал мне на свои кровоточащие веки и произнес:

— А что такое ”ойгенвейтик”, да, да, ”ойгенвейтик” (боль в глазах), тебе известно?

И вновь умолк в ожидании ответа. Мне действительно стало жутко при виде его глаз, но я не подал виду и вновь бросил:

— Не испугаюсь ни болезни глаз, ни прочих ужасов.

— Вот-вот, я и говорю, большой герой ты, даже грозишься воевать с нами. Каким же образом, хотел бы я знать, намерен ты вести эту войну?

Явная издевка этих слов заставила меня смешаться, и я пробормотал:

— Не знаю, не знаю, но так невозможно, так это не может продолжаться, не смирюсь и не успокоюсь, буду сражаться!

Наверно, мои слова и жесты выглядели жалко и нелепо, так как из всех глоток вырвался громкий, дикий смех, не умолкающий несколько минут и положивший конец собранию. Я поспешил выйти в темноту.

И вот я возвращаюсь одиноко в свою комнату в домике в верхнем конце улицы, потрясенный до самых глубин души моим незавидным положением. Глупо, глупо и легкомысленно было с моей стороны произносить высокопарные речи о войне. Эти бессмысленные риторические выражения, которые я обрушил

на них, ничего не могут доказать или изменить. Здесь совершается поражение, рушится все, рушится жизнь достойных людей, посвятивших себя великой задаче, уставших от нее, сломившихся под ее бременем и начавших издеваться над нею. А я пришел к ним с пустыми руками, и чего стоят мое преступное чванство и мой сжатый кулак?

Звезды рассеяны по небу, и в разрывах между облаками плавают ущербная луна месяца Тевет. Ночь нежна и легка, как улыбка младенца, дышит шепотом цветенья и окропляет росой. Деревья покачиваются, наклоня свои вершины и быстро вновь вознося их ввысь. Топот торопливых шагов расходящихся с собрания раздается за мной, преследует меня, слышатся и постепенно стихают обрывки разговоров и смех. Одинок я со своей горестью, со своим раскаяньем и смятением, одинок и повержен в прах.

Глава VIII

ПУТЬ К СВОБОДЕ

Когда человек в период между старостью и дряхлостью воспроизводит на бумаге события, происшедшие с ним на заре его юности, то он говорит не о себе и не самому себе. А происходит не что иное, как описание человеком, низшим по уровню, человека, превосходящего его во всех отношениях. До чего же далек я теперь, сорок шесть лет спустя, от того мягкого, наивного и сердечного парня, который метался и задыхался, как рыба в сети, в своих страданиях, после того как покинул собрание угандистов в этой колонии, в отчаянии от той грязи, которой встретила его страна в тот первый вечер. Время стерло и выкорчевало воспоминание того мира чувств, и теперь с трудом возвращаешься и входишь в него. Это была не просто одна из тех многочисленных звезд на небосводе души человека, которые падают и гаснут. Это был великий перелом, какой случается в жизни человека только раз. Помню, я был потрясен до самых основ, до глубины души. До меня никоим образом не доходило это отрицание, это наваждение, это поклонение чужому идолу — откуда они берутся и куда ведут? Все силы мои иссякли. Что делать? Если бы были со мной здесь мои товарищи по местечку, по новой синагоге! Мы переговорили бы между собой, посоветовались бы о том, что нужно делать, уж, наверное, нашли бы какой-нибудь выход. Но нет со мной никого. Один я.

Время уже перевалило за полночь, когда я вошел в темную гостиницу. На койке напротив лежал толстовец и читал книгу при свете маленькой лампочки. Волосы его разметались на белизне подушки, и я вижу только это темное пятно. Был он молчальником, погруженным в себя. Во всяком случае заметно было, что меня он не считал достойным особого внимания. Я рассказал ему, что произошло в доме Бен-Зеева, старался заразить его своим возмущением и заставить разделить его, но безуспешно. Мне даже показалось, что он возлагает вину на меня.

— Если бы ты не пошел туда, то и не слышал бы их болтовню, — сказал он.

— А разве суть дела от этого изменилась бы?

— Конечно! Если бы ты не слышал их болтовню, то не был бы теперь полон злобы и раздражения.

— Значит, по-твоему, не следует ничего предпринимать?

— Своего мнения я тебе не высказываю.

Между нами была разница в возрасте, в характере и темпераменте, в пережитом и воспитании, поэтому не было созвучия в наших словах. Я лег на койку и уставился открытыми глазами в потолок. Все же через какое-то время мой товарищ по комнате заговорил. Понял, очевидно, какая тоска терзает мою душу, пожалел и решил поддержать меня. Отложил в сторону книгу, собрал свои волосы с подушки, уселся на койке и начал:

— Ты хочешь исправить людей Ришона? Этих с их арабанджами?

В его сухом голосе слышалась насмешка, поэтому я не ответил. Только позднее я узнал, что слово "арабанджи" означает арабских возчиков, обслуживающих колонистов и работающих на них.

— Пойми, — добавил он, — человек не начинает с исправления других... Других невозможно исправить... Ложная гордость говорит в человеке, считающем себя настолько совершенным, что он вправе исправлять других. Единственное, что ты можешь делать, — это исправлять самого себя...

Он говорил по-русски, на крымском диалекте, почти бесстрастным тоном, отрывисто, обрубая фразы, словно выжидая чего-то, бросая несколько слов недовольства, затем останавливаясь и выжидая, вновь пронося те же слова в другом порядке и снова останавливаясь и выжидая. Я мало знал об учении Толстого, обычаях и образе жизни его последователей. В России все носились с этим, но меня это никогда не увлекало. Всю свою жизнь что-то отталкивало меня от слишком уж праведных людей. Еще звучали у меня в ушах бурные тирады из статей, рассказов и брошюр Бердичевского. Я не видел живого побега в скромности этой отшельнической секты, в этом демонстративном монашестве, которое они декларируют, в этой суровости заповедей, в поведении, одежде и пище, в той ненависти, которую они питают к человеческим существам и их маленьким слабостям. Кое-что из этой этики было и у господина Шейнбойма, моего товарища по комнате, и это проявлялось в сухости его лица, в худобе его рук и костлявости всего тела, в сухости и холодной монотонности отрывистой речи, в которой, невзирая на его добрые намерения, не дрогнула ни одна струнка жалости или снисхождения. Однако, к большому моему удивлению, он, так упорно молчавший все время, заговорив, никак не мог остановиться:

— Ты сионист? — спросил он меня.

— Конечно, поэтому я и приехал.

— А я... Я нет... Нет, я не сионист... Я стою выше этого...

— Чего же ты сюда приехал?

— Я... В страну без властей и режима... Здесь можно жить так, как мне по душе... А ты, значит, приехал в поисках свободы?

Приподнялся на локте, посмотрел мне в лицо, и улыбка на его слипшихся губах еще более углубила впадины на скулах:

— Действительно, сво-бо-да, — отчеканил он насмешливо. — Свобода... Высокие слова... А знаешь ли ты, где ее истоки?

На сей раз он не стал выжидать, а поспешил сам ответить на свой же вопрос:

— Она начинается с самого себя... С твоего "я"... Человек обязан поднять себя... Отречься от тела... Трудиться, доставлять сам себе все необходимое, чтобы быть независимым... В этом — начало, источник всего. А теперь давай ляжем спать.

Он вытянулся на своей койке, разметал свои длинные волосы по подушке, потушил лампу, и вскоре до моего слуха долетело легкое посапывание его губ, тершихся одна о другую, когда он втягивал и выпускал воздух. Много часов подряд слушал я в ту ночь это ритмичное посапывание, в то время как тяжелые раздумья и бессонница терзали меня. И все же было много правды в этом определении источника свободы: "начинают с тела, трудятся и доставляют ему необходимое, чтобы оно было свободным". Перед моими глазами возникла улица, какой я видел ее при закате солнца. Те кучки арабов, парни и девушки, женщины, старики и старухи с их множеством босых ног, проворных и запыленных, похожих на ноги овец, за которыми гонится овчарка и окружает со всех сторон, собирая в одно стадо. Те фургоны с крестьянами и арабскими возчиками с вожжами в руках, то поспешное спрыги-

вание крестьян с повозок возле их дворов, словно они бегут от презренного, противного дела, укрываясь в своих высоких домах. Разве не связаны между собой это постыдное бегство и это общее отрицание, которое открылось мне на собрании в квартире того Бен-Зезва с его жокейкой на голове? Можно ли еще сомневаться? Конечно, определенно имеется связь. Вот в чем причина и вот где источник. Слеп я был, если не разглядел этого до сих пор. Да ведь это прямо-таки колет глаза! Нет, не поеду в Реховот. Зачем я поеду в Реховот? Что может Смилянский сделать для меня? Что вообще один человек может сделать для другого? Дело во много раз тяжелее, чем я представлял. Отправиться в Микве Исраэль? Учиться? Ради чего? Вот Шейнбойм в два раза старше меня, а работает в виноградниках и живет своим трудом. Не стану вынимать деньги из банка. Даю зарок не делать этого. Невзирая на запрет, взял я их, и под запретом они будут. Не поеду в Реховот, не стану спрашивать никого, сам найду свой путь. В воскресенье встану и пойду искать работу в виноградниках, это будет началом моего пути к свободе!

Уже начала вкрадываться и просачиваться в щели ставней голубизна рассвета, вползать, распространяться в темноте комнаты и колебать ее. Казалось, этот слабый свет начал прояснять положение и вызывать тайный сдвиг в сердце человека, заблуждавшегося и обманывавшего себя, пока не нашел цель, подходящую в его положении. Вот прорвался первый сияющий луч и косо вонзился в лицо безмятежно спящего Шейнбойма, лежащего плашмя, вытянув вдоль тела обе руки, одну слева, другую справа. Сверкающая линия колебалась между его сопящими губами. Медленно-медленно, как человек, хорошо потрудившийся и заслуживающий отдыха, закрыл я глаза и заснул.

После того как я принял непреклонное решение сделать эту колонию местом моего постоянного жительства, душа моя успокоилась и заботы развеялись. В гостинице мне рассказали, что еще один парень, приехавший из России, брат писателя Гнесина, работает здесь в винодельне, только по субботам он отправляется в Яффу. Если прибавить к нему Шейнбойма и меня, то нас уже целая тройка. Невелик лагерь, но все же... После обеда я вышел погулять по пескам и виноградникам, знакомился с местностью и весь день купался в лучах здешнего солнца. Когда я возвращался с прогулки и спускался с пригорка, ко мне подошел крестьянин в серой накидке, протянул руку и сказал: "Меня зовут Шмуэль Осташинский". Был он среднего роста, с узкими сутулыми плечами, к которым клонилась голова. Глаза его были прозрачной голубизны, круглые и выпуклые, с покрасневшими веками. В голосе его было что-то мягкое, ласкающее, словно шелк, и покоряющее сердца, а грустная, сдержанная улыбка, чуть заметная в уголках рта, придавала лицу очень умное и даже чуть хитрое выражение.

— Видел тебя вчера на собрании и пришел сказать тебе: не давай никому словами сбить тебя в сторону. Иди прямо своей дорогой.

Он говорил на идиш, литовском идиш, немного шепелявом и косноязычным. Я широко открыл на него глаза, удивленный тем, что нашел поддержку в этом месте, у этого еврея, прибывшего сюда в зрелом возрасте и похожего на остальных жителей этого поселения, и от удивления лишился дара речи. При виде моего смятения исчезло легкое лукавство из его улыбки, в ней зажглась искорка понимания, отразившаяся в его круглых больших глазах.

— Что ты намерен делать?

После бессонной ночи и раздумий ответ у меня наготове:

— Работать в винограднике.

— Зайди как-нибудь вечером ко мне домой, смогу помочь тебе, — и показал на дом слева от нас. И несмотря на то, что в будущем нам предстояло стать друзьями на много лет и мне потом не раз случалось лежать в этом доме, когда приступы малярии нападали на меня и терзали мое тело, первая наша беседа никак не клеилась, и я почувствовал облегчение, расставшись с ним и возвратившись в гостиницу. Про себя я подумал: подобно тому, как целое поколение не может быть положительным, так и все общество не может быть положительным.

В воскресенье, когда Шейнбойм рано утром поднялся на работу, я встал вместе с ним, и он показал мне дорогу на биржу рабочих, расположенную в низине, неподалеку от колодца. Конец Мархешвана изобиловал дождями, а в конце Кислева было прохладно, лозы бурно разрослись и рано наступил сезон их срезки. Работа в виноградниках была в разгаре. Из всех деревень по соседству с Ришоном каждое утро собирались группы арабов и стояли здесь, столпившись в один большой, пестрый и перепутанный клубок, ожидая, когда придет владелец виноградника и возьмет кого-нибудь из них на работу. Вся эта разношерстная публика галдела, часть расселась прямо на земле, часть стояла на ногах. Парни с растрепанными волосами переминались с одной босой ноги на другую, мяли сигареты своими смуглыми костлявыми пальцами и вздрагивали от утреннего холодка. Девушки были стройны, их фигуры, словно шесты, торчали в синих халатах с квадратами вышивки на груди, лишь соски грудей упирались в ткань. Они гортанно переговаривались и покашливали в кулаки, носы их казались как

будто обрубленными, с синеватыми кончиками, тушь на ресницах резала глаза, а мониста слегка позвякивали. И вот в эту рабочую толпу втесался я в своем синем костюме и черной фетровой шляпе, и гудение голосов вокруг сразу примолкло. Девушки натянули на лица края белых платков, которыми были покрыты их головы, закрыли лица наполовину, подталкивали друг дружку локтями и украдкой бросали на меня изучающие взгляды. Парни начали поправлять свои накидки, удивленно переглядывались между собой, притворялись, что не обращают на меня внимания, но тайком бросали друг другу глухие отрывистые возгласы, наподобие рычания собак, когда к ним приближается чужой. Пришел крестьянин и выкликнул три имени: "Мустафа, Абд, Фатма", — и повел за собой часть компании. Уходя, он поднял на меня змеиные глазки и бросил с нескрываемой злобой:

— Что ты делаешь здесь?

— Ищу работу.

— Не нашел себе места лучше, чем среди этих черномазых, — и ушел, преисполненный злобы. Вслед за ним пришли другие крестьяне, каждый из них выкрикивал несколько имен и уводил с собой свою долю, а на меня бросал такой же ненавидящий взгляд — только проходил мимо и не говорил ничего. Прибежал и суетливый Бен-Зезв, еще одетый в домашний халат и обутый в тапочки, с остатками сна, сохранившимися в глазах. Концы его усов еще не были лихо подкручены кверху, а небрежно болтались и падали на подбородок. Он узнал меня и разразился громким смехом:

— Вот ты где, и все так же парадно одет!

Но он спешил и не стал вступать со мной в словопрения. Толпа постепенно редела, и в конце концов из мужчин остался я один, да еще оставались

две старые высохшие арабки в оборванных заплата-ных платьях со слезящимися глазами. Тем временем поднялось солнце, и полчища мух набросились на них, черня их засохшие лица, похожие на ту рыхлую сухую землю, на которой они сидели. Я уже потерял надежду и хотел возвращаться домой, но тут ко мне подошел крестьянин, все время стоявший в сторонке и наблюдавший за происходящим. Он был высокого роста, обут в сапоги и одет в рабочую одежду, фигура его была длинна и узка, нос представлял собой длинную линию, тянущуюся от лба до губ, а левое плечо было ниже правого. Было в нем что-то нееврейское, сельское, наивное и медлительное, что-то неясное таилось в худом лице, этакая глухая замкнутость — признак не то равнодушия, не то углубленности в себя, не то страдания и усталости.

— Чего ты стоишь здесь? — спросил он меня на онемеченном курляндском идише.

— Работу ищу.

— Есть у меня работа для тебя на день, хотя и не подходит она для такого парня, как ты. Если хочешь, идем со мной, будешь собирать ветки за обрезчиками лоз в моем винограднике.

Я последовал за ним.

— Моя фамилия Дрюбин, а говорил со мной о тебе Осташинский, — сказал он, меря меня глазами вдоль и поперек. Затем добавил:

— Нет ли у тебя другой одежды?

— Нету у меня.

— Шадэ (жалко), шадэ, испачкаешься очень.

Телега с впряженными в нее лошадьми уже стояла наготове у ворот дома Дрюбина, в передней ее части сидел араб, закутанный в халат, с круглым фесом на голове, вокруг которого был обмотан платок с золотыми рисунками на нем. Нельзя было определить его

возраст, но было ясно, что он не молод. Возле него сидел еще один араб, похожий на него, по-видимому, сын, поскольку относился он к нему с большим почтением. В задней части повозки, поджав под себя ноги и свернувшись в клубок, как сидят животные, сидела девчонка, совсем еще ребенок. И она была повязана белым платком, прикрывавшим половину лица. Я влез в повозку и расположился в центре, затем господин Дрюбин поднялся на облучок, взял в руки вожжи, прикрикнул на лошадей — и телега тронулась.

Мы проезжали вдоль живых изгородей и золотистых всходов, цветы которых еще хранили запах ночной росы, и на конце каждой травинки блестела хрустальная капля. В винограднике нас ждал еще один араб, который выехал раньше нас на другой телеге, чтобы привезти навоз из соседнего села. Дрюбин сразу же согнул свою длинную фигуру и начал орудовать садовыми ножницами, придавая лозам нужную форму, а два араба, отец и сын, подрезали следом за ним. Я же и маленькая девчонка Аннина собирали обрезанные ветки и складывали их в кучи на краю виноградника. Мне никогда не приходилось заниматься физическим трудом, и пальцы мои оказались непривычными и лишенными сноровки. Но главная беда была не в том: обидно было, что я оказался в компании этой арабской малышки, и оба мы занимаемся одной и той же работой. Я сгорал от стыда из-за бессилия моих рук, не желавших подчиняться мне. Я взваливал на руки несколько веток, но не успевал дойти со своей охапкой до кучи, как она разваливалась при ходьбе и от нее почти ничего не оставалось. А малышка, Аннина, пристукивая и притопывая ногами, шагает впереди меня, проворная, как белка, вертя ягодицами туда и сюда, стан ее прям, как натянутая струнка, на одежде ее нет ни соринки, а охапка веток, лежащая на ее

круглой голове, как будто не имеет никакой опоры, однако благополучно проделывает путь между рядами лоз и добирается до своей цели.

Почва виноградника представляла собой красноватый суглинок, цветом напомилавший пережженные кирпичи, влажная и липкая, словно тесто. Мой синий костюм вскоре весь покрылся бурыми пятнами, похожими на шкуру дикого осла. Вероятно, вид у меня был жалкий, и не зря девчонка смеялась надо мной и трещала все время: "Муш хек, муш хек" (не так). Господин Дрюбин, видевший, в каком я плачевном состоянии, не говорил ничего, главную заботу проявляя о моем испачканном костюме, и всякий раз, сталкиваясь со мной, шептал: "Шадэ, шадэ".

Во всякой работе имеется толика разумного. Постепенно я начал соображать, в чем дело, и нашел способ, как держать охалку веток, чтобы она не рассыпалась. Походка моя приноровилась к красноватой скользкой глине, и вязанки, которые я переносил, становились все больше. Исчезла смешная и ненужная торопливость, суетливость, лишённая пользы и смысла. Движения приобрели четкость, в них появились размеренность и ритм, чередование сбора, переноски, хождения и разгрузки. И белые зубы девчонки перестали сверкать, так как смех исчез с ее лица. В ее темно-карих глазах вспыхнула искорка вызова на состязание, зад еще быстрее завертелся во время ходьбы и громче зазвенели мониста у нее на шее. Расстояние между нами и рядами обрезаемых лоз сократилось, мы стали теснить обрезчиков. Но внезапно я почувствовал в спине жгучую боль, похожую на огонь, пожирающий и раскалывающий мой позвоночник на части, так что я больше не мог ни наклониться, ни шагу ступить. Вынужденный остановиться, я стал делать вид, будто скручиваю себе папиросу. Солнце уже стояло высоко в

небе, господин Дрюбин перестал орудовать ножницами и не стал начинать новый ряд. Мы собираемся вместе и идем обедать.

Ломота в пояснице не прошла даже после часа отдыха в тени дерева, и вторая половина рабочего дня стала для меня не чем иным, как адом, пыткой, исторгавшей слезы из моих глаз. Вся моя судьба зависела от солнечного диска, катившегося по небосводу вниз, ибо лишь закат мог вызволить меня. К счастью, распорядок полевых работ таков, что послеобеденная часть рабочего дня намного короче утренней. Г-н Дрюбин покинул виноградник первым, а мы закончили последний ряд и стали ожидать прибытия телеги, которая отвезет нас домой. Иду я с последней охапкой веток на плечах, и гут навстречу мне перелезает через забор из соседнего виноградника другой крестьянин, чтобы присоединиться к нам и вернуться в деревню в телеге г-на Дрюбина. Я сразу же узнал его. Это был тот самый румынский еврей с красными, слезящимися кровью веками, который выставил меня напоказ и осмеяние на собрании в пятницу вечером. Увидев меня с ношей на спине и с бурыми пятнами на одежде, он остановился, разинул рот, схватился за бока и покатился со смеху, словно бес его обуял. Затем приблизился ко мне, приподнял кепку и уставил на меня свои плачущие кровью глаза:

— Вот как ты воюешь с нами? — и затем обратился к Аннине:

— Как он, парень этот?

— Шатэр, беалла шатэр.*

Всю дорогу не переставал он доказывать мне глупость и низость моих поступков. Эта девчонка зараба-

* Ловкий, клянусь Аллахом, ловкий (арабский).

тывает несколько металлических,* а работа ее в несколько раз лучше моей. И вообще с этими виноградниками одни убытки. Нет будущего и нет надежд у этой страны, пожирающей своих жителей — и так далее в том же духе. Я не слушал и не обращал на него внимания, целиком уйдя в жгучую боль, терзавшую мою разбитую поясницу. Каждый толчок телеги переворачивал во мне все внутренности. У калитки своего дома нас поджидал г-н Дрюбин. Он уплатил мне два бишлика* и сказал:

— Если ночью не будет дождя, приходи опять завтра с утра.

Расставшись с ним, я молился в душе, чтобы ночью пошел дождь, и мне не надо было снова идти к нему на работу утром. С трясущимися коленями поднимался я вверх по улице. Всякий попадавшийся на пути задерживал шаг, смотрел во все глаза на меня, на мою залепленную глиной виноградника одежду, недоумевал, пожимал плечами и усмехался. Долог и невесел путь мой к свободе.

*Металлик, бишлик — мелкие монеты.

Глава IX

МЕЛКИМИ ШАЖКАМИ

Ни один признак в этот вечер не указывал на то, что ночью может пойти дождь. Небо было чисто и усеяно несчетным количеством звезд, резкий северный ветер дул в воздухе, наполнившемся холодной сыростью росы. И хотя тело мое словно раздроблено и все члены расшатались, нельзя, чтобы начатое осталось без продолжения, и завтра на рассвете я обязательно пойду в виноградник и приступлю к работе.

Увидел Шейнбойм мое жалкое состояние и начал ухаживать за мной из сострадания. Повел меня к лавочнику, у которого в лавочке чего только не было, и там я снял с себя свой запачканный синий костюм, чтобы он привел его в порядок, и вышел одетым в шерстяную рубашку, серые льняные брюки, в серой пушистой шапке и тяжелых, подкованных гвоздями, ботинках. В свою комнату я вернулся один, так как Шейнбойм отправился к своему хозяину договариваться о работе на завтрашний день, и уселся на свою койку в новом одеянии. Что-то суровое и решительное было в этой перемене одежды: казалось бы, изменение внешнее, не затрагивающее суть, но вместе с тем это признак большой перемены, произошедшей со мной, словно выведшей меня из моего прежнего обличья и втиснувшей в другое.

Я взял австрийскую почтовую открытку и написал на ней несколько слов своим друзьям по местечку за

морем: "Передо мной лежат монеты — заработок за первый трудовой день. Приезжайте!" После этого я написал длинное послание с извинениями отцу, всячески оправдываясь и объясняя, как и почему я сделал то, что сделал. Его ответ дошел до меня лишь через два месяца и был короток и остр, как ланцет, вонзившийся в мясо: "Позорно ты поступил, а после сделанного советуешься" — и под этим стояла его красивая крючковатая подпись "Авраам Аба Цемах Галеви". Но через два месяца весь мир мой уже изменился в корне.

На следующее утро я проснулся оттого, что Шейнбойм тряс меня за плечи. Открыв глаза, я увидел, что окно открыто и в пространство комнаты врывается алый свет зари. Я ощущал усталость и разбитость во всем своем теле даже после ночного отдыха, однако, вскочил с поспешностью новобранца, влез в свою одежду, наскоро проглотил завтрак и вскоре уже стоял у калитки дома г-на Дрюбина, своего хозяина, с узелком продуктов на обед. Из трубы на крыше винного погреба раздался первый гудок. Г-н Дрюбин выразил бурную радость, увидев меня в моей новой рабочей одежде, и мы сели в телегу той же компанией, что вчера: два араба, отец с сыном, и девчонка с ними. Но в то утро я уже не работал с ней. Г-н Дрюбин вооружил меня садовыми ножницами и начал обучать искусству подравнивания лоз за обрезчиками. Виноградник был уже многолетний, с крепкими лозами, стоящими прочно, так что даже такой недотепа, как я, не мог причинить им особого вреда. Со знанием дела и большим терпением хозяин показывал мне, как держат ручки ножниц и как раздвигают их; как обрезают, чтобы срез был ровным и гладким и лежал близко к коре ствола, как обращаются с толстой ветвью и как с густой тонкой порослью, как прижимают боковой побег, чтобы он не поднялся вверх. Целая наука с

правилами, возможностями и запретами. По сути дела эта земледельческая профессия не казалась мне чуждой и далекой, хотя я и не занимался ею никогда в своей жизни. Я представитель четвертого поколения семей, владевших землей и державших имение, и дни раннего детства прошли у меня в деревне Вулка, в имении, доставшемся отцу в наследство от деда. Там были посеы хлебов, овцы и крупный рогатый скот, а также конюшни, при мне обсуждали вопросы о севообороте, навозе, клевере, желтом и голубом люпине, улучшающем почву и увеличивающем урожай ржи, посеянной после него; о выращивании гороха на корм скоту, о гречихе и тому подобных вещах, типичных для сельского хозяйства тех мест. И никогда не сотрется в моей памяти тот день в месяце Тамузе, внезапно ставший сумрачным. Было мне тогда четыре года. Всходы уже созрели, и зерна в колосьях налились, посеы стояли наготове в ожидании серпов жнецов, а отец стоял у окна с Кн. Псалмов в руке, а крупинки града, величиной с голубиные яйца, сыпались сверху и колотили о запотевшие стекла, а побелевшие губы отца шептали "Молитва страждущего, когда он унывает и изливает перед Господом печаль свою", и из глаз его струились горячие слезы.

Но воспоминания, впечатления и ощущения — сами по себе, а гнуть спину целый день на работе, за которую ты получаешь две мелких монеты — тоже само по себе. Я делал свое дело в полном соответствии с полученными наказами. И вскоре мне открылся еще один секрет физического труда: чем дольше и упорнее ты гнешь спину, силой воли пересиливаешь телесные страдания, причиняемые им, и воспринимаешь их с любовью, тем скорее они исчезают. Идет себе г-н Дрюбин по дорожке вдоль ряда впереди меня и обрубаёт несколько веток с каждой лозы, а я иду

вслед за ним и подравниваю, подрезаю оставшиеся ветки. То же делал и старый араб, идя по соседнему ряду, а сын подрезал за ним. В первые утренние часы я раздумывал и прикидывал возле каждой лозы, колебался и не мог решиться, так что намного отставал от араба, а г-н Дрюбин, закончив ряд, поворачивался назад и помогал, идя мне навстречу. Но с приближением полдня руки мои начали приобретать навык и сноровку, возросли сила и решительность, а усилий стало требоваться меньше, я шагал уверенной походкой по дорожке и делал свое дело, уже не нуждаясь в помощи г-на Дрюбина.

Эти маленькие победы, сливаясь вместе, бурлили во мне и бродили, как вино. Преодоление каждой неловкости и бессилия превращалось в удовольствие и радость. Возможно, была в этом чувстве удовлетворенности какая-то доля грубого соперничества, желания одержать верх, но было в нем и что-то другое, более чистое, более глубокое, более истинное и даже более простое. И после обеда, когда работа уже не так утруждала меня, и я делал ее механически, привычно и не задумываясь, поскольку в ней все время повторялись в том же ритме одни и те же движения рук, голова моя освободилась для размышлений. Солнце месяца Тевета стояло на небе, даря свое тепло и свет всякой травинке, пробившейся наружу и тянувшейся к нему в тихом расцвете. А я, пригнувшись, перехожу от лозы к лозе, не слышу ничего, кроме клацанья моих садовых ножниц, срезающих ветки, и стрекотанья сверчка, спугнутого в его укрытии. А я отчитывался перед самим собой. Поскольку эта работа непременно станет отныне занятием моей жизни, отсюда вытекает полное внутреннее слияние моей главной цели с нею; ведь с ростом числа людей, занимающихся этим делом, крепнет и дело, ради которого я действую. Эта мысль,

сверкнув в моем мозгу, уже не покидала меня и казалась мне большим открытием. Вновь в моем воображении возник облик Ришона утром и вечером и толпы приходящих и уходящих арабов. Я не ощущал в сердце никакой ненависти к ним. Эти арабы — да разве это их преступление или их грех, что евреи ведут себя подобным образом? Скажем, если я поставлю перед собой этого старого Ибрагима, со спокойствием и важностью шагающего и срезающего ветки рядом со мной, и напротив — своего соплеменника из Румынии, владельца виноградника, с его красными ветками, душевным озлоблением, большими претензиями и небольшим умишком, то мое сердце целиком на стороне Ибрагима. И если я сравниваю Юсуфа или его сына, подравнивающего лозы в соседнем с моим ряду, с этим Бен-Зезвом, каким я видел его вчера — в утреннем халате и тапочках, поспешно хватающим с рынка рабочих с тем, чтобы самому вновь завалиться в постель, то, безусловно, моя душа полностью на стороне Юсуфа.

Казалось, что перед глазами у меня расплываются контуры очень почитаемой идеи, и мне стоит вернуться к ней и хорошенько над ней поразмыслить. Однако человеку не свойственно подолгу витать в высоких сферах, и он всегда возвращается в мир своих мелких забот. Если я в самом деле твердо решил не пользоваться деньгами, положенными в банк, жить на труды своих рук и содержать себя самостоятельно, что действительно необходимо со всех точек зрения, то ведь моего заработка не хватит на удобное проживание в просторном номере гостиницы. Лучше побыстрее перебраться оттуда под собственный кров и привести свои расходы в соответствие с доходами. Поравнявшись с г-ном Дрюбиным в конце ряда, я спросил, не знает ли он, где я мог бы найти маленькую комнату

для жилья. Он посоветовал мне пойти к Бен-Зезву, у которого в доме пустует целая квартира на нижнем этаже.

В половине пятого, когда солнце начало клониться к месту своего ночного убежища, пришел конец моему второму рабочему дню, прошедшему без того, чтобы у меня случилась какая-нибудь неполадка, и я возвращаюсь в колонию благополучно, объятый доброй, сладкой усталостью, навевающей безмятежный покой. Я остановился проститься с г-ном Дрюбиным, о котором тем временем узнал, что он из билуйцев и принадлежит к числу лучших виноградарей в стране. И вот он кладет свою руку мне на плечо и говорит тем же низким, невнятным голосом, скрывающим в себе всю меру его сочувствия ко мне и желание сделать мне добро, укрепить меня в усилиях в начале пути:

— Оставь эти садовые ножницы себе, человек привыкает к рабочему инструменту и не меняет его. Да и насчет комнаты поспеши и скажи Бен-Зезву, что пришел от меня.

С садовыми ножницами в руках и капелькой бахвальства в душе постучался я в дверь дома Бен-Зезва. Мне открыла арабка лет тридцати, высокая, полнотелая и краснощекая. Одета она была как одна из девушек Ришона — в юбку со складками по бокам и блузку из светлого ситца с узором в виде вишневых веток. Руки ее были обнажены, и на запястьях брнчало множество серебряных и золотых браслетов. Несколько светло-голубых пятнышек татуировки было на ее широком лице, на кончике носа, на подбородке и вблизи висков, на выпуклостях скул. Ее мощная шея была окружена монистами позванивающих золотых монет, а волосы на голове распущены, и каждый завиток в них торчал отдельно, как в шевелюре негра. Заговорила она со мной на том же испорченном

смешном жаргоне, с растянутыми и удлинненными арабским акцентом гласными, очень похожем на язык, на котором говорил со мной подслеповатый полицейский в яффском порту:

— Вос ду вилст? (Чего ты хочешь?)

Я сказал, зачем пришел, и что-то вроде смятения отразилось на ее лице, словно она не знала, как ей поступить со мной. Все же она постучала в дверь напротив, приоткрыла ее и протиснулась в щель между косяком и приоткрывшейся дверью, заслонив от меня происходящее внутри, но сразу после этого распахнула дверь настежь, и навстречу мне донесся голос Бен-Зева:

— А, это ты! Видно, хочешь угостить нас новой речью!

Пять человек сидели в креслах вокруг стола за едой, и густой табачный дым окутывал их. Жалюзи были прикрыты, и уже зажжена была высокая керосиновая лампа, в свете которой поблескивали бокалы с напитками и пролитые пятна на столе, на котором валялись также остатки пищи и косточки маслин на тарелках. Все держали в руках близко к груди по нескольку карт веером, буквально прижимая к телу, чтобы в них украдкой не проскользнул глаз соседа. Столбики серебряных и медных монет лежали перед каждым. В глазах у всех сквозила одна и та же забавная слащавость, присущая людям, вкусно поевшим и много выпившим и слегка одурманенным всем этим.

— Г-н Дрюбин послал меня, я хотел бы снять комнату, — сказал я.

— Если уплатишь мне за комнату столько, сколько я сегодня проиграл, то считай, что она за тобой, — с усмешкой сказал г-н Бен-Зев. Все разразились сме-

хом, и я увидел, что в самом деле столбики монет возле него самые низкие.

Но тут же он добавил, приподнявшись с поспешностью, как человек, желающий избавиться от досадной помехи:

— Не до серьезных дел мне, я расположен шутить, сделаем дело быстро: шесть франков за комнату в месяц — это тебе по силам?

Я видел, что присутствующие не на моей стороне, что они против этого чужеземца, ворвавшегося вдруг в святая святых их жизни, видящего их во всей их испорченности, играющими в карты среди бела дня и проводящими время в безделье в самый разгар сезона обрезки лоз. Я не стал затягивать торг, согласился и уплатил ему за месяц вперед. Бен-Зезв тут же сказал несколько слов арабке на непонятном мне языке, и я спустился вместе с ней взглянуть на отведенное мне место. Весь нижний этаж оказался пуст. Мы вошли в просторный зал с тремя окнами, открывающимися на улицу. Это, конечно, не для меня. Но с левой стороны дверь открывалась в длинную узкую комнату с окном во двор, затененным стволами деревьев. Комната изолированная, удобная для человека, ищущего себе уголок для размышлений о мире и самом себе. Я решил не терять времени и начать немедленно, в этот же вечер, перенесение сюда своего места жительства. В конце концов, пока стоит хорошая погода, всякий вечер будет подобен этому, а найти свободное время для переселения я все равно могу только вечером, после работы в виноградниках; когда же пойдут дожди и делать мне будет нечего, время будет неподходящим для обживания нового места.

В то время баки с нефтью прибывали в Эрец Исраэль в деревянной таре, по два в каждом ящике, поэтому таких ящиков было полно в каждой лавке и

продавались они по дешевке. Я пошел в лавочку и после обсуждения с лавочником вопроса об устройстве моего жилья купил десять ящиков, которых хватило для удовлетворения нужд моей мебелировки в стиле, принятом у здешних бедняков. Три ящика я поставил в ряд у обращенной к югу стены, с промежутками менее локтя между ними. Поверх их я положил две доски из кладовой своих хозяев, которые мне дала Фатма, домоправительница Бен-Зезва, а на них — длинный, узкий мешок, набитый рыхлой соломой из стога, стоявшего во дворе, и застелил все это простыней. Две небольшие подушки продолговатой формы, набитые ватой и увесистые, как камни, служившие изголовьем праотцу Иакову, я положил у стены, а шерстяное одеяло из Марсея, желтое, как цветок шафрана, с голубыми полосками по краям, послужило покрывалом всему этому — таким образом, постель моя была оборудована по всем правилам. У окна я устроил сооружение из четырех ящиков, поставив их друг на друга таким образом, чтобы дно верхнего служило мне столом, а внутренние полости представляли собой нечто вроде кладовки с перегородками для хранения продуктов и других вещей. Один ящик я поставил возле стола — вот и стул готов для сиденья, а еще один — возле постели, чтобы он был чем-то наподобие ночного столика. Оставшийся ящик я поставил также ребром у восточной стены, дном к стене и открытой стороной вовнутрь, и определил его местом хранения бутылки с керосином для лампочки и бутылки со спиртом для спиртовки, поставленной на ящик сверху, с жестяным чайником на ней. Фатма принесла мне молоток с гвоздями, и я вбил несколько гвоздей в разных местах: над кроватью, чтобы повесить на нем лампочку на время чтения, возле стола — для той же лампочки, чтобы она светила мне во время еды, при

письме и тому подобных занятиях, и несколько гвоздей в южной стене, чтобы было куда повесить мой костюм, когда я получу его обратно чистым и выглаженным, а также для полотенца и маленького зеркала. И вот мое жилье устроено, все в нем на своем постоянном месте, и все нужное имеется.

Не обращая внимания на физическую усталость, я проработал добрый часок с большим упоением и усердием. Как еврей, украшающий свою сукку накануне праздника, я торопился, подстегивая себя, по пути из дому в лавку и из лавки домой несколько раз подряд, чтобы восполнить все недостающее, поскольку все детали устройства прояснились для меня постепенно. Тем временем стемнело, я зажег свою лампу, и тени заполнили пространство комнаты. Печальной сиротливостью отдавала пустота и бедность вокруг. Я сидел на ящике, упершись локтями в колени и зажав голову руками, и не знал, стоящее ли дело я делаю.

Легкий стук в дверь пробудил меня от тоскливых размышлений. Это опять пришла Фатма, все с той же напряженностью в тяжеловесном теле, с выставленной вперед трепещущей грудью, которую она словно несет в дар каждому попадающемуся ей навстречу. Перекатываются и позвякивают браслеты на ее запястьях, черны, как смола, пятна татуировки на ее лице в слабом желтоватом свете мигающей и коптящей лампочки. Она окидывает мое ложе взглядом своих горящих глаз и говорит: "Шелеби... шейн... шелеби... шейн..." Через руку у нее перекинут кусок цветной ткани, и она расстилает его над сооружением из ящиков у окна — вот и скатерть для моего стола и занавеска, закрывающая кладовку. А она достает откуда-то еще что-то наподобие маленького коврика длиной и шириной в четыре пяди и кладет на пол у кровати. Комната словно оживилась улыбкой.

Я вернулся в гостиницу, чтобы попрощаться. Садовые ножницы я прихватил с собой, чтобы с ними, упаси Боже, не случилось что-нибудь. Все жильцы, проживающие у хозяйки, уже сидели за столом. Сидел там и Шейнбойм, волосы которого были еще влажны после мытья, и рылся в своей миске овощей. Сидел и г-н Трахтенберг, старательно обглаживая куриную ножку и удовлетворенно поглядывая из-за своих темных очков. Я сказал им, что ухожу, перебираюсь в снятую комнату, но на их лицах не выразилось никакого впечатления от сказанного. Хозяйка поправила бантик на своей блузке и спросила:

- И куда же ты переезжаешь?
- В дом Бен-Зеева, на нижний этаж.
- Красивый дом.

После ужина, когда я пришел за своим чемоданом, Шейнбойм уже лежал, раскинувшись на кровати и смотрел в книгу. Он поднял на меня свои острые глаза и сказал, не дернув ни одной жилкой и не пошевелившись:

– Возьми себе мой будильник... И не опаздывай на работу по утрам... Мне он больше не нужен... Когда у тебя выработается привычка просыпаться вовремя, отдашь мне...

И тем же прохладным, сухим, отрывистым голосом, отсекающим конец фразы, добавил:

– Кипишь, кипишь ты, словно в котле... Совсем с лица спал за эти два дня... Словно после болезни встал... Небрит... Даже руки не вымыл после работы... Таз купил себе?

– Нет.

– Видишь вон тот белый тазик и кувшин на нем?.. Бери... Пока я живу здесь, он мне не нужен...

Этот Шейнбойм вверг меня в стыд и смущение своим покровительственным, отцовским отношением ко мне, так что я внезапно ощутил размягченность и слабость в руках. Мои заботы он возложил на себя и по своему обыкновению хочет мне добра. Я взвалил себе на спину чемодан, тазик и кувшин зажал под мышкой, в правую руку взял садовые ножницы и вышел в вечерний мрак улицы. В то время в колонии не принято было запира́ть двери, поскольку сторожа-бе-дуины несли ответственность за всякую кражу или потерю. Лишь войдя со своим барахлом в комнату, я сразу ощутил по оставшемуся в ее воздухе приятному аромату, что здесь кто-то побывал в мое отсутствие. Зажег лампочку и увидел на своем столе баночку и в ней букетик полевых цветов с пушистыми рыльцами. Дело рук Фатьмы, да воздастся ей добром. Я наполнил кувшин водой из крана во дворе и умылся, следуя наставлению доброго ко мне Шейнбойма, завел будильник на четверть шестого и поставил его на ящике возле постели, затем вбил еще один гвоздь над кроватью, повесил на него садовые ножницы, разделся и улегся на свое ложе.

А сверху, с потолка, одновременно являвшегося полом гостиной г-на Бен-Зезва, ко мне доносились глухие звуки, временами усиливавшиеся и напоминавшие ругань. Там сидят до поздней ночи колонисты, поглощенные карточной игрой. Теперь мне понятно, почему Бен-Зезв выскакивает утром в халате и тапочках, хватает с биржи рабочих и поспешно возвращается обратно в постель. Теперь понятны мне и подлые речи, раздававшиеся в его доме в пятницу вечером, и их озлобление против этой страны. Все понятно. Один во всем этом корень, все исходит от него. Безделье, работа руками чужих — вот мать всех грехов. Принесут ли избавление от всего этого зла садовые

ножницы, которые я с благоговением повесил у своего изголовья? В силах ли вот этот маленький мир, который я построил себе сегодня вечером, выкорчевать с корнем безобразие и вырождение и привести к повороту? Усталый и одурманенный этими размышлениями, погрузился я в сон.

Глава X

СТАРОЕ И НОВОЕ

Две недели подряд стояла прекрасная погода с днями, полными сияния солнца и пропитанными ароматами от живых изгородей и полевых цветов, так что я не переставал ощущать волнение, навеваемое очарованием этой страны, ради жизни в которой я прибыл сюда, и этим месяцем весны Шватом с его неисчерпаемым изобилием света и тепла. Я продолжаю заниматься подрезкой лоз в виноградниках господина Дрюбина, многочисленных и разбросанных по разные стороны от колонии: под его наблюдением и руководством я все больше набираюсь умения в этом деле и уже безошибочно разбираюсь в формах старых лоз разных сортов. Недолюбливаю "бордилло" и "кариньян", докучающие мне своими дикими, запутанными переплетениями отростков, и хвалю "семион", чистый и гладкий, с ровной корой, легко отстающей и снимающейся вдоль веток. Каждый день я педантично подсчитываю число лоз, к исправлению формы которых приложил руки, и когда оно в четвертом винограднике превзошло тысячу, меня распирало от гордости.

Таким образом, ход моей жизни и распорядок начали приобретать свой определенный облик и систему. Утром с рассветом звонит будильник на ящике возле моей кровати, я встаю, умываюсь холодной водой, готовлю себе завтрак, беру с собой еду для обеда в поле, снимаю со стены садовые ножницы,

висящие над моим изголовьем, и выхожу на работу. В полдень обедаю, сидя в одном кругу со старым Ибрагимом, его сыном Юсуфом и маленькой Анниной под эвкалиптовым деревом, и урываю время ненадолго вздремнуть под его скупой тенью. Домой возвращаюсь с наступлением заката, делаю себе ужин, присаживаюсь за свой стол и гляжу на ветки перцового дерева, затеняющего мое окно и пытающегося проникнуть в комнату, а грозди ягод на нем горят алым огнем, словно увенчивая его свечами и фонариками. И хотя на протяжении этих четырнадцати дней я в рот не брал горячего и пищу мою составляли маслины, лук, селедка, финики, халва и колбаса, а питье — бледный и дурно пахнувший чай из моего чайника, слой ржавчины в котором все время рос — работа делала свое дело. Зажили и зарубцевались пузыри, вздувшиеся вначале на моих ладонях от садовых ножниц и так досаждавшие мне, бицепсы моих рук отвердели и округлились, и у меня оказалось много физической силы, о наличии которой я и не предполагал и которая до того дремала под спудом. Однажды нужно было вытащить за оглобли телегу, груженную навозом, который намок и стал тяжелым. Юсуф попробовал, но сил у него не хватило. Тогда я подставил плечо, слегка раскачал телегу и вытащил одним рывком.

Если бы только не одиночество по вечерам! Если бы не эти часы между шестью и десятью, блуждающие в пустоте, словно посох слепца, и сводящие с ума! Попытался было я разыскать Менахема Гнесина, работающего в винодавальне, чтобы подружиться с ним, но он, словно перелетная птица, болтается между Ришном и Яффой и обучается театральной игре у учителей женского училища, участвуя в репетициях пьесы под названием "Ойс калэ видэр мойд" ("Из невест — обратно в девушки"). Так я и не смог застать его.

Однажды вечером я зашел к Шмуэлю Осташинскому, но и тут мне не повезло. Встретила меня молодая женщина (по-видимому, вторая жена Осташинского), невысокая и кругленькая с добродушным лицом и приветливым взглядом, но обремененная детишками, цеплявшимися за ее подол. В доме была та типичная сумятица и гвалт, какие бывают после ужина, когда мать пытается уложить в постели капризничающих детей. Она не знала, кто я такой и зачем пришел, а я затруднялся среди этого шума объяснить ей, что мне нужно. Во всяком случае, ее мужа я не застал дома, так как он отправился в тот вечер в Гедеру на собрание виноградарей. Ни с чем вернулся я в пустоту своей комнаты, к моему перцовому кусту за окном. Сижу я так и улавливаю шорохи, всех движений ног сидящих наверху в зале Бен-Зеева, скребущих своими ботинками по потолку над моей головой. Иногда ко мне спускается Фатма и приносит сладости: глазированный миндаль, финиковый сок с орехами, жареные фисташки или несколько цветных кубиков рахат-лукума — остатки со стола картежников. Осторожно стучится она в дверь, затем в проеме между дверью и косяком на притолоке показываются разлетающиеся кудряшки ее волос, и кажется, будто она головой открывает дверь, словно кошка, возвращающаяся домой со двора. Но она никогда не остается посидеть у меня. Страх стоит в ее карих глазах, покорно вздрагивает ее нижняя синеватая губа, и никогда не садится она на ящик по моему приглашению: как украдкой вошла, украдкой и выходит.

Каждый вечер хожу я к почтальону, хотя и знаю в точности, что никто не собирается атаковать меня своими посланиями. Но этот ветхий барак, где раздают письма и покупают австрийские марки, служит неким пунктом встреч для бездельничающих местных жите-

лей и девушек: эта толкучка, в которую вталкиваюсь и я, эти очки почтальона, блеск которых направляется на меня в тот момент, когда он объявляет: "Господину Цемаху? Нет писем!" — все это доставляет мне странное удовольствие.

Одиночество — удобная вещь для раздумий о душе, и я раздумываю и размышляю так, что голова раскалывается. Но ведь не для этого же я приехал. Если мое желание не совпадает с желанием многих, то и печальное мое сидение в этой темной и пустой комнате с Бен-Зезвом и его братией над головой является не чем иным, как бессмыслицей.

Однажды утром, когда пошла четвертая неделя моего проживания здесь, я удостоился большого повышения. Господин Дрюбин отвел меня на отдаленный участок виноградника и, дав кое-какие указания, удалился, оставив меня одного подрезать лозы по собственному усмотрению. Участок был круто наклонен и окружен со всех сторон красноватыми холмами. Лозы прятались в травяном ковре, пестревшем желтизной цветов поповника и нежной голубизной одного из видов цветков горчицы; их тонкий аромат обдает меня, в то время как я нагибаюсь над лозами. За ночь погода изменилась, небосвод как будто опустился ниже и утратил свое сияние. Ползут клочья тумана, пытаясь зацепиться за травинки поля, но их отрывает и поглощает пышущий жаром ветер, с силой дующий с востока, с гор Иудеи. Вокруг меня — ни живой души, одни лишь холмы замыкают пространство. Когда человек работает в полном одиночестве, и работа не слишком затрудняет его, в темной глубине его черепа неизбежно начинают жужжать мысли, словно пчелиный рой весенней порой. Не знаю, каким образом это слилось воедино и откуда взялось, но вдруг поднялся и всплыл, словно со дна водной пучины, трактат

”Эрувин”* в большом и длинном фолианте виленского Талмуда; того самого Талмуда, с его четкими буквами, с его чертежами и описанием лабиринта запутанных переулков, проемов, столбов, навесов, балконов, больших дворов и маленьких двориков; и мне кажется, что в этом запахе цветов, который окутывает меня, есть что-то от сладковатого запаха пергамента, издаваемого фолиантом моего Талмуда, того Талмуда, который я оставил открытым и осиротелым, накрытым носовым платком, в ту среду под вечер, когда я тайно покинул свою синагогу и отплыл в дальние страны. В те времена мы не были интеллигентами общераспространенного типа. Мы не изливали кубок горечи, пренебрежения и злобы на обычаи народа и его Тору, даже став атеистами. Идея Фейерберга о преемственности предшествовала нашим блужданиям и поискам и благополучно перевела нас из одного пространства в другое, без урона, сомнений и ненужных расчетов. Начало нашего пути было ”путем раскаяния” после ”грехов юности”, и не было у нас здания для разрушения и чужеродного побега для выкорчевывания. Мы любили нашу синагогу, заунывный напев Талмуда в ее стенах, сложность его мыслей, их тонкость и остроту. Склоняясь над своей лозой и ее отростками и раздумывая, какую форму им придать, я чувствую, как охватывает меня тоска по тому оставленному и забытому Талмуду, которому не находится избавителя. И в этой гордости, появившейся у меня сегодня, когда мне одному доверили виноградник для работы в нем по моему усмотрению, было нечто от той гордости, с которой я пришел когда-то, высоко неся голову, к раби Тувии, моему учителю и наставнику, и

*”Эрувин” – трактат Талмуда, рассматривающий вопросы переноски ноши в субботу с одного двора в другой и выхода из установленных границ.

сказал ему, что решил в этом году самостоятельно ("алейнен") изучать трактат "Эрувин", один из самых сложных трактатов Талмуда. И я сказал самому себе: все равно вечера мои теперь пусты и скучны, почему бы мне не закончить начатое? Может быть, именно в этом идея преемственности Фейерберга и проявится во всей полноте. Днем буду обрезать лозы, а по вечерам изучать "Эрувин"; эта мысль, за которую я ухватился, больше уже не отпускала меня.

В тот же вечер, поужинав своей обычной селедкой и финиками, я отправился к местному резнику. Небо, которое с утра было облачным, вновь прояснилось, а ветер с востока, столь палящий в полдень, правда, несколько поостыл, но все еще был достаточно горячим. Девушки разгуливали по мостовой улицы, от синагоги до дома Смиличанского вниз, и снова вверх, и снова вниз. Когда видишь такое бесцельное шатание местных девушек, сразу же перед твоим взором встает проклятье, довлеющее над домами этой колонии: словно родились в ней только существа женского пола и она обречена сгинуть бесследно. А где же ее парни? Вероятно, выехали из Яффы за двое суток до того, как я ступил на ее берег, на том корабле, отплывшем в дальние страны.

Я подошел к одной из компаний девушек и спросил, где дом резника деревни. Они очень удивились моему вопросу и, по обычаю жителей маленьких селений, где каждого интересуют дела другого, ответили мне сначала вопросом:

— А зачем вам резник?

— Дело у меня к нему.

В конце концов они очень подробно объяснили мне, как пройти к резнику, причем каждая перебивала подругу и добавляла новые подробности и признаки, как и где мне повернуть и как узнать барак резника.

Когда я отошел от них, все они закудахтали в один голос и сказали одна другой: "Ведь это проповедник", так что я уже знал, что таково мое прозвище в этом месте.

Резника я нашел сидящим за столом, облаченным в иерусалимский халат, в хлопчатобумажной ермолке, с кисточкой посредине, похожей на хвост осленка. Светлая спутанная борода окружала его лицо, смуглое, с узким лбом, пухлым и жирным, с двумя мясистыми выпуклыми складками поперек, похожими на две кишки; в этот час, когда он наполнил свой желудок, лоб разгорячился, повлажнел и блестел. На полу во всю ширину комнаты были разбросаны подушки, подстилки и пестрые стеганные одеяла, и три маленькие головки, такие же светловолосые и в таких же ермолках, какая была на голове отца, поднимались с ним навстречу входящему в дверь и улыбались ему. Над ними стояла тонкая, длинная женщина и за что-то бранила их своим хриплым голосом. На мое приветственное "шалом" хозяин дома не ответил, а вместо этого показал обеими руками на свои губы и промямлил: "Гм, гм...", — то есть он произносит благословение после еды, и его нельзя прерывать. Руки у него были маленькие и округлые, с маленькими ямочками у основания каждого пальца, словно ручки младенцев, так что мне показалось удивительным, что именно эти руки занимаются столь кровопролитным ремеслом. Тем временем он закатывал глаза, громко вздыхая произносимое "отроком был я", затем вновь вздыхал "семя его просит пропитания", закончил благословение, поднялся и спросил меня о цели моего прихода.

— Я пришел попросить у Вас один том Талмуда с трактатом "Эрувин".

— "Эрувин"? Для чего?

Объяснить ему все было бы трудно. Я ограничился тем, что выразил согласие оставить в залог сумму стоимости соответствующего тома и уплатить ему за хлопоты. Услышав это, он напряг и распрямил выпуклые складки-кишки на лбу, собрал бороду в кулак, причем вся она в нем не поместилась, и остался еще хвостик снаружи, погрузился на минуту в раздумье и затем сказал:

— Дома у меня нет всех томов Талмуда. Однако выйдем и посмотрим.

Он взял свою шапку, и мы вместе отправились по главной улице в другой конец колонии. Там все еще разгуливали девушки, спускаясь и вновь поднимаясь, словно ангелы по лестнице праотца Иакова. Необычная парочка — резник и я, — затесавшаяся в их среду, удостоилась всеобщего внимания; каждая группка, попадавшаяся нам по пути, останавливалась, смотрела на нас и не двигалась с места до тех пор, пока мы не исчезали, поглощенные тьмой. Резник зашел в один из домов в переулке на западной околице колонии, а я поджидал его снаружи. Он пробыл там долго. По-видимому, и он оказался в затруднении, пытаясь осмысленно растолковать владельцу томов, чего ради вдруг, срочно, посреди ночи, потребовался трактат "Эрувин". Наконец он вышел, держа под мышкой большой том в кожаном переплете, совершенно неприкрепленном к корешкам книги. Я дал ему десять талеров в залог и три в уплату за труды, расстался с ним и поспешил в свою комнату.

Там я сразу зажег лампу и открыл трактат на странице 55 главы "Как расширяют границы города", на том месте, на котором я прервал его изучение несколько недель тому назад. Я уселся на ящике, сделал несколько раскачиваний телом вперед и назад перед деревом, что в окне, и начал слабым голосом:

”Сказал рав Хуна: обитатели хижин меряют не иначе, как от порогов их домов”. Прерываю, заглядываю в Раши* и продолжаю; вначале немного стыдливо, как блудный сын, согрешивший и вернувшийся под отчий кров, а затем уже более привычно, все более и более погружаясь в материал, вникая в его содержание и следуя за ним. Мой огрубевший голос прорезает пространство комнаты и, вероятно, проникает сквозь переплетение ветвей перцового дерева наружу, во двор Бен-Зезва. Мой печальный напев ширится и набирает силу, следуя смыслу слов: тяжелеет, когда есть тяжесть, протестует, когда есть возражение, утверждает, когда есть утверждение, и спорит, когда возникает спор. Таким образом я углубился в ученье и надолго забылся, пока громкий смех, раздавшийся из нескольких глоток, не заставил меня вскочить с моего места. Мой напев проник на верхний этаж, дошел до слуха компании картежников. Те прервали свою игру, спустились вниз, спрятались в зелени ветвей и смотрели оттуда, как я шевелю губами и раскачиваюсь. В конце концов они не сдержались и разразились смехом; из зелени высунулась маленькая круглая голова Бен-Зезва, который стал подбадривать меня:

— Продолжай... продолжай...

Я поднялся и погасил лампу.

Ночью меня разбудило хлопанье окна. Я встал, закрыл окно и вернулся в кровать. Утром мой будильник зазвонил, как обычно, в нужное время, но вокруг меня стояла густая тьма и не было даже признака рассвета. Воздух был полон сырости, а дерево за окном шумело. Несмотря на это, я верен своему обычному распорядку, одеваюсь и выхожу посмотреть,

* Раши — аббревиатура имени Рабби Шломо Ицхаки, прославленного толкователя Танаха и Талмуда.

что делается снаружи. Серое небо нависло низко над землей, брызги назойливого дождя прорезают воздух. По мостовой текли обильные ручьи, пузырятся, смывая грунт и образуя лужи повсюду в низких местах. Деревья стоят с прибитыми вершинами, слышен скрип и стон их стволов. Тихо во дворах, лишь лошади в конюшнях скребут копытами землю. По-видимому, я сегодня не пойду на работу в свой виноградник. Наступают дни безделья. Я вскипятил чайник, вытащил из своей кладовки пачку запятнанных бумажных обложек, разложил их на столе и позавтракал в одиночестве, среди тумана и стужи. А том Талмуда в жалкой ободранной обложке лежит на ящике сиротливый, оставленный и чужой, как и заморский его товарищ в синагоге моего родного местечка, а я бросаю на него недобрый взгляд. Кратковременной вспышкой оказалась моя страсть к нему, и он не в силах уже вернуть себе мое сердце. Возможно, это я не выдержал испытания, а возможно, что и он. Я достаю из чемодана томик произведений Гете, который Женя дала мне в Круке, бросаюсь на свою кровать и начинаю вглядываться в этот затейливый, острый готический шрифт — ничто в нем не увлекает меня. Потянулись пустые, темные и долгие часы. И хотя мне вовсе не свойственно исходить жалостью к самому себе, все же отчего-то болезненно ныла душа.

С приближением полудня меня охватило желание поесть чего-нибудь горячего: тарелку супа, кусок мяса. Дождавшись у порога дома маленького перерыва между двумя дождями, я отправился в гостиницу, где живет Шейнбойм. Стучусь в дверь — нет ответа. Вхожу самовольно — никто не попадается мне навстречу, словно дом опустел, растеряв всех постояльцев. Когда же я дошел до комнаты, в которой прежде жил, странное зрелище открылось моему взору. У самого

пола на низкой табуретке я увидел Шейнбойма с волосами, подобранными под белый платок, которым он повязал голову, наподобие деревенской бабки. Холщовый фартук опоясывал его талию, между коленями зажата деревянная подставка, в руке он держал молоток сапожника, а во рту — множество маленьких деревянных гвоздей. Рывком выхватывал он один за другим и, предварительно проколов для них отверстия кривым шилом, конец которого он обмакивал в воск, вгонял их наискось в матерчатый ботинок, лежавший на подставке, и ударял по ним молотком. Когда я вошел, он поднял на меня свои горящие, колючие глаза, но из-за гвоздей, которыми был набит его рот, не мог ничего произнести и только промямлил что-то непонятное. Ожидая, когда кончатся все гвозди у него во рту, я с изумлением смотрел на его светившееся лицо, на воодушевление, которое охватило все его движения, словно у человека, творящего поистине святое дело. Когда его губы, наконец, разжались, он сказал мне, что хозяйка уехала в Зихрон-Яков на празднование Бар-Мицвы в семье ее сына и в гостинице, кроме него самого, никого нет. Разговор у нас не клеился, заметно было недовольство Шейнбойма тем, что я пришел и помешал ему заниматься сапожным делом, в то время как он выполнял великую заповедь содержать себя своими силами. Вспомнился мне виденный когда-то портрет Толстого, с его окладистой бородой и густыми бровями, делающего ту же работу с тем же воодушевлением. В смятении я стал сбивчиво и много говорить, что только попадало мне на язык, а он держал в зубах дратву, макал ее в воск и не отвечал. В конце концов я поднялся и ушел. Вот тебе и горячий обед, о котором я так мечтал. С пустым желудком, под проливным дождем, по безлюдным улицам, мимо домов с закрытыми ставнями и запертыми лавками,

возвращаюсь я в темноту и стужу своей комнаты, ставлю на огонь свой чайник и в одиночестве ем свой скудный хлеб, лук, финик и маслину. При этом не перестаю раздумывать об этом Шейнбойме, его поступках, о его мире. Может быть, ему, Шейнбойму, и достаточно этого религиозного культа содержания себя собственными силами в отрыве от других и одиночества, — но мне этого недостаточно. Конечно, содержание самого себя — это первейшее в данное время, это общий долг на этой земле, основа основ для нее и для всего ее будущего. Но невозможно осуществить эту идею в одиночку, в отрыве от других. Необходимо, чтобы эта идея в какой-то точке смыкалась с целью, ради которой я нахожусь здесь, с тем, чтобы она вывела жизнь всех в этом месте из упадка и деградации.

Я чувствовал, что череп мой вот-вот расколется от этих мыслей. Где же он, этот пункт сочленения?

Глава XI

ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ

Печаль и пустота одолели меня в эти дождливые дни с их бездельем и скукой, которым, казалось, конца не будет. После того как закончилась ничем моя попытка вернуться к изучению трактата "Эрувин", я метался, как мышь в мышеловке с утра до вечера в полутьме моей комнаты. У меня всегда была слабость к речам и привычка формулировать в письменном виде преследующие меня мысли, и пока они мною не изложены письменно, нет в них ясности и они не прибавляют мне ума. Будучи в состоянии полного безделья, я начал составлять наброски сочинения о самом большом и главном — о еврейском ишuve, находящемся на само-содержании, как о насущной задаче времени, которое ставит это требование во главу угла и повелевает сделать его заповедью и путеводной нитью для каждого. Не было ничего нового в самих идеях, которые я воспроизводил на бумаге. Это были обрывки идей Ахад Гаама, выраженные им в статьях об ишuve и его покровителях, о его моральном падении и духовной деградации. И требование "Руки прочь!" с восклицательным знаком вплелось само по себе в ткань моих слов, приняв другое выражение. И все же что-то новое в этом было. Пишущий эти слова пишет их для самого себя. Завтра или послезавтра, с прекращением дождей, я опять иду на виноградник господина Дрюбина и тем самым осуществляю те заповеди, которые излагаю в

качестве основы своего мировоззрения. Ахад Гаам только писал об этом. Может быть, именно в этом большое различие — пожалуй, даже главное различие.

Мое сочинение, которое вначале было не более чем детской забавой и желанием как-то заполнить окружающую пустоту и одиночество, начало постепенно впитываться в мою плоть и кровь и волновать мою душу. Я шагал по своей длинной комнате, и моя тень металась по потолку и стенам, словно одна из туч, которые ветер гоняет по небу. Лицо мое разгорелось от воодушевления. Временами, словно испугавшись, бросался я к столу и в лихорадочной поспешности записывал несколько строк — и вновь начинал вышагивать взад и вперед, складывая в голове продолжение; или же я сидел и трудился над своими мыслями, глядя на перцовый куст, что в моем окне, листья которого посинели от холода и с которого струятся потоки воды, а я вижу сверкание капель при их падении и слышу их безболезненную гибель, когда они падают и разбиваются об землю, целуя ее; я словно просил у этого куста, чтобы он подсказывал мне мое сочинение, когда слова иссякали, и я не находил им замены. Два дня и две ночи трудился я над этим сочинением, не отлучаясь никуда и не отвлекаясь ничем, кроме пробежек в лавочку и приготовления пищи. Даже на почту перестал ходить. Вечером на третий день у меня оказались исписанными несколько листов: вступление и предпосылки, вытекающие отсюда выводы и практические указания, связанные с ними. И вновь расхоживаю я по своей комнате и вслух читаю написанное. Но моя походка не столь бодрa, как была во время работы над сочинением: душа опустела и настроение упало. Безнадежно слабым показалось мне то, что было на этих исписанных листках, словно я распротранялся о вещах фантастических, не имеющих ника-

кого соприкосновения с реальной жизнью. В разочаровании я побросал листки на кровать, вышел из комнаты и направился в колонию.

Солнце уже село, и зарево заката горело над песками Ришона. Одно заблудившееся облако словно спешит погасить этот закат, но не может и само оказывается проглоченным огнем, занимается таким же алым заревом и словно придает закату еще больше яркости. Известковая почва мостовой, в прежние дни белевшая, пропиталась водой, посерела и позеленела, словно покрывшись плесенью. Не видно местных девушек, поднимающихся и вновь спускающихся по наклонному участку улицы между синагогой и низким домом Смоличанского у подножья холма. Из одного дома из-за закрытых ставней слышится фортепьянная игра. Всякий попадающийся навстречу на улице ускоряет шаги с той поспешностью, с какой происходил исход из Египта. Перед баракком почты тоже немного ожидающих, и моя очередь подходит быстро. Почтальон уставляется в меня через свои очки, как будто сердясь, и говорит: "Господину Цемаху? Уже два дня лежит письмо для вас", — и подает его мне. Это было не то письмо, которое я ожидал. Не издалека прибыло оно — из Яффы. Откуда там знают о моем пребывании здесь? В руках у меня приглашение от нескольких учителей прибыть на встречу с ними по вопросу "распространения языка иврит в стране". Мне не особенно нравится это выражение "распространение языка", оно мне не по душе и режет слух. Все же скука и одиночество сделали свое, и на следующий день я отправился в Яффу.

Пешком отправился я в путь. Пять дней подряд я не работал, только расходовал, но не зарабатывал, поэтому поездка в карете Файвеля мне не по карману. Дороги в Яффу я не знал, но поднялся по холму до

синагоги, свернул в переулок влево и дальше зашагал по колеям, оставленным на дороге колесами дилижанса и телег, перевозивших бочки вина из винодельни в порт. Возле школы я видел большое оживление. Было 15 число месяца Шват (Ту Бишват), и, по-видимому, в этот утренний час ученики и учителя уже собрались отмечать этот праздник. Воздух полон приятной мягкости и тепла, и идти по краю песчаной дорожки, по отвердевшему влажному грунту приятно и неумоительно. Нежно-голубые цветки вероники подмигивают мне, словно на что-то намекая. Жирные листья аронника излучают сочную зелень и расправляют свои острые концы кверху. Цветки шафрана, скромные в своей наготе, рассыпают золотистую пыльцу на белеющую холмистую землю. Несколько рыжих пятен уже буреют на гороховом поле, начинающем созреть, и стебли ржи начинают тянуться вверх. А я иду совершенно один среди этого буйства цветения и зелени и не испытываю никакой тревоги. Иногда мне попадается навстречу араб верхом на осле, с босыми ногами, болтающимися у самой земли, первым говорит мне "шалом" с какой-то странной неуместной веселостью и проезжает мимо.

Начиная от Бет-Дагона и дальше более оживленным становится движение между живыми изгородями и кактусами. Степенно расхаживают верблюды, на спинах которых по обе стороны от горба навьючены мешки. Животные шагают осторожно, с оглядкой, временами оглашая воздух ревом, ноги их скользят в грязи, их серые нижние губы вздрагивают и внутри изогнутых шей слышится бульканье жвачки. У входов в глинобитные хижинки толпятся феллахи, копают канавки для отвода дождевой воды из дворов в придорожные канавы. Некоторые взбираются на крыши и устанавливают там плетеные ящики из прутьев.

Ноги множества прохожих измеси́ли доро́гу, ка́ждая впа́дина преврати́лась в лужу́ грязно́й воды́, разлета́ющейся брызга́ми под нога́ми. Но ко́гда нача́лись цитрусо́вые планта́ции, сверка́я желти́зной сво́их пло́дов, все́ уже́ свиде́тельствова́ло о то́м, что я подо́жду к окра́ине го́рода. Слы́шался стук мо́лотков из скла́дов, где заби́вали ящи́ки; на штабе́лях си́дели ара́бы, перека́тывали по о́дному апе́льсины и сорти́ровали их. Стои́т ку́знец, де́ржит на ко́лене но́гу ло́шади и подковы́вает ее. А во́т вы́сятся стро́йные ми́наре́ты ме́четей, мо́рской ве́тер до́летает и разго́няет туман, клу́бящийся во́круг. Я по́чти не по́чувствова́л э́тих тре́х с полови́ной часо́в, прове́денных в доро́ге, хо́тя и бы́ло о́щуще́ние бо́дрости и удо́влетворе́ния че́ловека, уве́ренно ша́гающего́ по сво́ей земле́.

В кварта́ле Не́ве Це́дек с его́ узки́ми зловонны́ми переу́лками, во́все не отли́чающемся́ спра́ведливо́стью и че́стностью́ в шумно́й торго́вле* его́ тесных ла́вочек, я ста́л спра́шивать, где най́ти учи́телей. После́ неодо́кратных ра́спросо́в я в ко́нце ко́нцо́в выпу́тался из ла́биринта́ и оказа́лся в большо́м квадра́тном дво́ре, со́ всех сто́рон оку́рженном ка́менными́ до́мами. По́павшийся́ мне́ на пу́ти ма́льчи́шка про́водил ме́ня в о́дин из кла́ссов, где́ я и нашел э́тих ”по́клонни́ков язы́ка иври́т”, со́бравшихся́ на со́вет, куда́ бы́л при́глашен и я. Здесь́ нахо́дился учи́тель Па́пер, в че́рной ши́рокой и дли́нной боро́де ко́торого́ за́ключало́сь все́ его́ досто́инство. Во́истину́ уди́вительно́м бы́ло изоби́лие во́лос на его́ ли́це. По́чти не оста́валось сво́бодного́ от них ме́ста, за́ исклю́чение ка́кого-то подо́бия пере́верну́того тре́уго́льника, о́снование́ ко́торого́ про́ходило́ по ве́рхнему́ краю́ лба́, а ве́ршина́ упи́ралась́ снизу́ в

*Здесь игра слов: Не́ве Це́дек в перево́де значи́т – Оби́тель пра́восуди́я.

основание носа; но даже в этом ограниченном пространстве пролегали брови, и их отроги достигали почти до середины. Под ними, из-под треугольника, выглядывала пара больших серых глаз, в которых нельзя было усмотреть ничего острого и колючего и которые встретили меня с любопытством, когда учитель Папер склонил голову в мою сторону и спросил, зачем я пожаловал. Когда я назвал ему свое имя, он качнул бородой и ответил: "Прекрасно, прекрасно", и по звуку его голоса я понял, что он любит пение и в родном местечке наверняка в Страшные дни исполнял роль кантора. Этот старый учитель был симпатичен и прост в обращении, настроен он был шутливо. С возбуждением потирал ладони, а ноги его шагали маленькими проворными шажками, когда он проводил меня к одной из парт, усадил и объявил мое имя двум другим, сидевшим там. Одним из них был учитель Адлер из Реховота. Это был человек среднего роста, но с расплывшейся фигурой, которую выпячивающийся живот словно делал еще ниже. На подбородке у него болталась козлиная бородка, цвет которой трудно было определить: золотистые и поржавевшие пряди переплетались в ней так, что она казалась неопрятной. Щеки его были гладко выбриты и отливали краснотой. На его широком носу сидели очки и отбрасывали тень на усы, а когда он поднимал свои маленькие матовые глазки, они загорались и смотрели поверх квадратных стекол, так что можно было только удивляться, зачем вообще на нем очки, только затуманивающие его взор. Голос у учителя Адлера грудной, звук его вначале ясен и приятен, но создается впечатление, будто голос немного задерживается в горле, застрекает там и заполняет пространство рта, и когда вырывается затем наружу, то уже не звучит как следует.

Рядом с ним сидит молодой парень, такой же, как я, бывший воспитанник религиозной школы, но старше меня на несколько лет. Зовут его Шифрис. Он широкоплеч и работает слесарем на заводе Штейна в Яффе; мужественного сложения, с ладонями черными, словно уголь, светловолосый, со светлым открытым лицом. Из-под теней его бровей смотрят глаза прозрачной голубизны, немного водянистые, выражающие удивление и наивность — глаза младенца, только что проснувшегося и вынесенного на свет. Учитель Папер посадил меня рядом с ним, и мы вчетвером стали молча ожидать остальных приглашенных. Вскоре торопливо вошел человек лет сорока — зубной врач Туркенич, высокий, красивый и такой худой, что одежда болталась на его тонком теле и руки и ноги словно терялись в ней. У Туркенича была небольшая круглая голова, быстро поворачивающаяся и возвышавшаяся словно купол над его вытянутым высохшим телом, на ней красовались черные кудри, а лицо увенчивала черная кудрявая шелковистая борода. Глаза его были черны и зорки, немного остры и колючи, в них проскальзывала приветливая шутливость, и легкая улыбка не сходила с его сжатых губ, розовеющих посередине. После прибытия Туркенича, учитель Адлер сказал, что пришло время приступить к обсуждению, поскольку он должен рано вернуться домой в Реховот: в его школе сегодня вечеринка в честь праздника Ту Бишват.

Учитель Папер скользнул рукой по своей бороде и произнес что-то обычное о языке иврит, без воскрешения которого нет полного избавления для народа. Он извинился за то, что по ошибке созвал это собрание именно в день, когда большинство учителей занято подготовкой к празднику деревьев. Учитель Адлер немедленно раскипятился, как только открыл рот, и начал извергать целый поток речей, не отличавшихся

законченностью. Главная мысль заключалась в том, что многие в стране знают иврит, но очень мало таких, которые пользуются им в повседневном обиходе. Таких почти не сыскать.

Вопрос в том, каким образом превратить знающих иврит в говорящих на иврите. В этот момент вмешался Туркенич: "Что же вы в таком случае предлагаете?" Тот разошелся и раскипятился еще больше и ответил: "Так ведь для этого мы и собрались!" — и остановился. Шифрис, речь которого обрывиста и невнятна, словно она сидит у него в горле, и он нажимает на него, чтобы она вышла наружу, потребовал максимальной неприимости в вопросе иврита. Группы молодежи в разных местах берут на себя обязательства не отвечать ни одному человеку иначе, как на иврите. При этих словах яркий свет разгорелся в его наивных голубых глазах. После этого все минутку помолчали. Учитель Папер был слегка растерян и подталкивал меня, желая узнать мое мнение: "Для нас очень важно знать, что думают молодые". У меня не было выхода, и хотя я стеснялся колючих глаз Туркенича, все же пробормотал несколько фраз из сочинения, оставшегося лежать в моей комнате: о безделье в ишуве, где все делается руками других, и о том, что не может быть свободы в обществе, где каждый отдельно взятый человек не трудится и не содержит сам себя, что в таком обществе нет надежды и будущего даже для языка иврит и что такое будущее появится лишь тогда, когда весь порядок жизни здесь будет перевернут до самого основания. И что, видите ли, газета "Хашкафа" Элизера Бен-Иегуды так ратует за чистоту языка и любовь к нему — и в то же время в ней публикуются оскорбления и нападки на Сион, его прошлое и будущее.

— Кто же перевернет? — раскипятился против меня учитель Адлер.

У меня не было ответа на его вопрос. Мне показалось, что говорил я не по существу дела, и я умолк. В это время Шифрис поднялся и объявил, что ему придется уйти, так как он должен немедленно вернуться на свой завод; его отпустили только на время обеденного перерыва. За ним поднялся и учитель Адлер, который тоже спешил на свою вечеринку в Реховот. А учитель Папер в растерянности разводил руками и вновь извинялся за допущенную оплошность, и на том наша компания разошлась. Но Адлер хоть и горяч был и много кипятился, но доброе сердце кипело в нем. Теплота была в его обхождении и какое-то подчеркнутое чудачество. Он подошел, вплотную прижал ко мне свой живот, а в его глазах, выглядывавших поверх стекол очков, загорелся вопрос:

— Ты в Ришон направляешься?

— Конечно.

— А как доберешься?

— Пешком, точно так же, как и пришел.

— На сей раз тебе не понадобится идти пешком.

— А как же иначе?

— Это секрет, секрет строжайший. Пошли со мной, пообедаем вместе.

Мы простились с учителем Папером и направились по переулочкам Неве Цедека в сопровождении Туркенича, тонкие руки и ноги которого раскачивались при ходьбе, словно болтаясь в пустом пространстве среди одежды. По выбору Адлера и под его руководством мы все втроем входим в знакомую ему маленькую задрипанную закусочную. Он прочел удивление на наших лицах и со смехом сказал: "Не смотрите на внешний вид". У этого Адлера не только сердце было открытым, но и рука. Он был рассеян и любил поесть, так что брюшко у него выросло не случайно. Он

заказал нам за свой счет рубленую печенку, всевозможные маринованные овощи: свеклу, баклажаны в уксусе, острый перец, зеленые помидоры и соленые огурцы, куриный бульон, жаркое из курицы с белой подливкой, десерт и турецкий кофе.

— Что это ты так побледнел? — тревожно спросил Туркенич, схватив меня за плечо.

А у меня, когда в мой нос ударили запахи этих блюд, закружилась голова и потемнело в глазах. Я изо всех сил старался не потерять сознание: ведь за последние тридцать дней мне не пришлось отведать горячей пищи.

После обеда щеки Адлера сильно покраснелись. Одну из них он поднес к моему уху и прошептал:

— Теперь я открою тебе секрет, бездельник ты этакий!

Он стукнул меня кулаком между лопатками и воскликнул:

— Ведь ты всю жизнь собираешься перевернуть!

Затем поднес щеку к моему уху и прошептал:

— На стоянке нас ждет повозка, так что незачем тебе топтать пешком.

Туркенич, который все это время сидел с нами, ел, молчал и улыбался, теперь отправился своим путем, а мы пошли к стоянке и сели в повозку. Адлер задремал при первых ее толчках и навалился на меня своим грузным телом. Через полтора часа мы подъехали к Ришону, я сошел возле эвкалипта в нижней части колонии. Солнце стояло уже в вершинах деревьев.

Войдя в свою комнату, я тут же увидел, что все в ней перевернуто вверх ногами. Чайник не стоит на своем месте, стопки бумаги рассыпаны вперемешку с косточками фиников и маслин на столе. Мой чемодан открыт и разворочен, словно в нем кто-то рылся. Я подумал, было, что здесь хозяйничали воры. Однако,

повернув голову в другую сторону, я увидел человека, вытянувшегося во весь рост на кровати и храпевшего, раскинув босые ноги, а его сапоги стояли в сторонке, как двое караульных на страже. Именно по сапогам мне стало ясно, в чем дело. Ведь это были те желтые сапоги штейермарковские, которые я видел на горьковском босяке, моем попутчике в плавании на корабле из Триеста! Я потряс его за плечо, и он вздрогнул, спросонья вскочил и выпрямился во весь рост. По-видимому, не очень-то сладко жилось ему в эти недели: лицо очень осунулось и пожелтело, одежда оборвалась, и еще на один зуб меньше стало в проеме его рта, так что черная щель между зубами стала еще шире. Но он был все так же беспечен, заносчив, весел и холоден, как и тогда.

— Ты спрашиваешь, откуда я знал, что ты живешь в Ришоне? Ну, от меня ничто не скроется. А ты-то ведь знаменитость здесь, большой гебраист, оратор, уж я-то знаю, что говорю. Я спросил у одной девушки, такой симпатичной брюнеточки с глазами, похожими на маслины, и она сразу показала твою квартиру, до самого порога дома довела. По лицу ее я видел, что душа ее исходит по тебе. Все девушки в Ришоне по тебе с ума сходят, у меня на это глаз наметанный, я знаю, что говорю. А ты сидишь здесь все время? Сгниешь, да, да, сгниешь здесь. Я-то? О, многими делами занимался. Работал у одного столяра в Яффе, сефардского еврея. Разве я столяр? Неважно, сказал, что столяр. Недолго продержался я у него, прогнал меня, такой жид паршивый, даже мои заработанные деньги не отдал. Квартиры у меня нет и деньжонок нет. Скверно дело. Но не перевелись добрые люди на свете. Один рабочий с завода Штейна, товарищ Шифрис, хороший человек и большой гебраист, как и ты, подобрал меня и взял в свою комнату, целую неделю ел и спал у него. Хоро-

ший человек этот Шифрис, а у меня ничего не было. Мои узлы украли в одной гостинице, жида такие паршивые! Пошел я в Петах-Тикву, работал грузчиком на плантации, таскал тюки на носилках в упаковочный пункт. Сорок носилок в день, и за каждую оплата — один апельсин. Сорок апельсинов поедал я каждый день, ей-Богу, не вру, сорок, говорю тебе, никак не меньше. Там много шума среди новых рабочих, много таких же гебраистов, как и ты. Есть там один, Элизер Шохат зовут его, важный человек, все его уважают, даже колонисты. Хороший человек, заботится обо всех. Он хлопотал за меня перед хозяином мосье Паскалем, по-французски говорил с ним, большой интеллигент. И у него в комнате я несколько раз ночевал. Молчальник, только глаза у него говорят. Стоит тебе перебраться в Петах-Тикву, сгниешь ты здесь. Что, с девками никак не можешь расстаться? Встретишься с Элизером Шохатом, он таких птиц, как ты, днем с фонарем ищет. Но вот с началом дождей не стало работы на плантации, и я направляюсь в Вади-Ханин, где выращивают табак, и по пути завернул поглядеть, как ты поживаешь. Смотрю, у тебя здесь, как у барина: и кровать, и одеяло, и занавески, и скатерть на столе — а на корабле-то у тебя ничего не было. Я решил подождать, пока ты вернешься. Хорошо, что вначале я тебя не застал. Временно похозяйничал у тебя в доме. Досыта наелся и достал из чемодана чистую рубашку и трусы. Не волнуйся, оставил тебе свои, посмотри, они еще лучше твоих, не гляди, что грязные, выстираешь и увидишь, какие хорошие.

Сердиться на него было невозможно. Он сидел на кровати, обматывал свои босые ноги грязными вонючими портянками и натягивал свои желтые сапоги, уже развалившиеся от долгой ходьбы. Усмешка сквозила в черном пространстве между его губ, где не хватало

двух зубов. Я вскипятил чаю, мы выпили, и я вышел проводить его до конца колонии, откуда он направлялся в Нес-Циону. Он простился со мной очень трогательно, обнял и поцеловал, а затем я увидел между деревьями его удаляющуюся тень. Вдруг он остановился, обернулся ко мне и крикнул:

— Сгниешь здесь, забудь девок, иди в Петах-Тикву, там твое место! — И пошел дальше.

Вернувшись в свою комнату, я вновь привел ее в порядок, грязное белье, которое оставил горьковский босяк, вынес все в соседний коридор, постельные принадлежности положил на окно проветрить и сел на один из ящичков. Может быть, правда кроется в предостережениях этого босяка. Сгнию здесь! И вдруг мелькнула мысль: пошлю-ка я Элизеру Шохату те листки, которые написал. Этот босяк хоть и легкомыслен, но видит вещи и разбирается в них. Фамилии и названия населенного пункта будет достаточно. Ведь письма по домам не разносят, и Элизер в Петах-Тикве наверняка так же ходит на почту, как я здесь. Эта мысль не покидала меня. Я уселся, переписал свои листки набело, сложил их в конверт, написал этот странный адрес человека, которого не знаю, пошел на почту и сдал письмо почтальону. Дело сделано, не воротишь. Теперь я с нетерпением жду, что из этого выйдет.

Глава XII

НАЧАЛО РАЗДОРОВ

Снова вступил я в конфликт с жителями Ришона из-за Уганды. Из лондонского центра прибыли шекели* территориалистов, и их держатели вправе были послать делегата на VII конгресс, место и время созыва которого уже были назначены. Вся колония кипела. В субботу вечером в народном доме созвали митинг, чтобы все послушали речь господина Япу о великой задаче людей ишува в настоящий момент: добиваться, чтобы выступающий от их имени на конгрессе был из числа сторонников, а не противников Уганды. Хотя Ришон и маленькое селение, он был расколот на три лагеря. Большинство виноградарей зависело от чиновников, в руках которых была вся колония, которым принадлежала винодельня и которые заправляли делами парижской кассы. Мнение чиновничества обо всем было решающим. В меньшинстве были те виноградари, которые не входили в этот лагерь, построенный на наживе, а вели свое хозяйство собственными силами и не пользовались покровительством чиновников. Прав у них было меньше, чем у основателей Ришона. На винодельне не принимали их виноград – разве что из милости. Их голоса не раздавались так громко при обсуждении общественных дел, как голоса тех горде-

*Шекель (название древней еврейской монеты) – мандат выборщика делегатов на Сионистский конгресс.

цов, близких к столу барона. Но, кроме этих двух лагерей, была еще одна небольшая группа специалистов — виноделов, секретарей и кассиров, конторщиков администрации, воспитывавшихся в школах "Альянса" и даже ездивших специализироваться в школы Франции. Это были "сливки общества", люди с обеспеченным доходом, отличавшиеся прекрасными манерами, свободно владевшие французским языком и читавшие газету "Ле тан". Они выделялись среди прочего населения своей одеждой и держались особняком. Некоторые из них были потомками иерусалимских и каирских сефардов, другие — первое поколение местных уроженцев, сыновья колонистов, первый "урожай плодов" страны. К этой группировке принадлежал господин Япу, наиболее ученый среди них. Родители его происходили из Литвы. Выражение лица его было застывшим, как у мертвеца, только что испутившего дух, но не успевшего еще заоченеть. Желтоватая бледность покрывала его лицо, словно на него плеснули с палитры одним лишь желтым цветом и наделили выражением суровости и горечи. Глаза его блуждающие, словно у пьяниц, черные и подернутые тонкой дымкой; половина глазной роговицы скрывалась под верхним веком; этот жидкий, ускользающий взгляд делал выражение его лица еще мертвеннее. Таким стоял он на трибуне, элегантный в своей черной одежде, с галстуком-бабочкой на накрахмаленной белой рубашке, с короткими ногами, кривыми, словно сабля бедуина, выпятив свой округлый живот. Несколько жидких волосков торчало на его подбородке, и складка упрямыства перерезала высокий лоб. Говорил он на литовском идиш, со сладострастным удовольствием злодея долго и жестоко распространяясь о великой цели местных жителей и их святом долге покупать как можно больше шекелей Уганды, чтобы голос ее

сторонников звучал как свободный голос крестьян Иудеи и Галилеи.

Когда он закончил свою речь, я хотел ответить ему. Япу оставил на меня свои затуманенные глаза, половина роговицы которых была спрятана под верхним веком, и самодовольно объяснил мне, что здесь не место для спора, поскольку собрались всего лишь для практического дела — покупки шекелей. Но я вправе выразить свое мнение публично по любому вопросу, который найду нужным затронуть, и комитет Народного дома с удовольствием созовет жителей в следующую субботу для этой цели, стоит только мне выразить такое желание. Но он просит меня, чтобы я говорил на идиш; вот ведь и он сам выступал на этом языке, хотя ему это и трудно, но нужно, чтобы мои слова были понятны всей публике. За неимением другого выхода я согласился. Собравшиеся разошлись по домам, местные девушки вышли на свою обычную прогулку вверх и вниз по синагогальной улице. Мне и в голову не приходило тогда, что с этого начнется раздор между мной и господином Япу с его компанией, что этому раздору суждено разгореться в большой пожар, обернуться большим расколом, дойти до кулачного боя и, в конце концов, до моего изгнания из этой колонии. В простоте души я написал письмо в комитет о том, что берусь перевести на идиш произведение Ахад Гаама "Моше", прочитать его перед всеми и прокомментировать его идейное содержание. В полной безмятежности сижу я и ожидаю ответа на два отправленных мною письма — одно в Петах-Тикву Элизеру Шохату и второе в Народный дом в Ришоне.

Тем временем прекратились дожди, и я вновь вооружился садовыми ножницами. Еще несколько дней проработал с г-ном Дрюбиным, пока не кончилась работа в его виноградниках. Но он не оставил меня на

произвол судьбы, а разрекламировал мое прилежание и старательность, так что я без труда нашел работу у других виноградарей, запоздавших с обрезкой лоз. Заработок мой даже повысился до двух франков в день. Жизнь моя вернулась в свое обычное русло, и даже вечера перестали быть такими скучными. Один из школьных учителей дал мне брошюру "Гашилоах", в которой опубликована статья "Моше", а поскольку комитет согласился, чтобы я выступил с чтением этой статьи в субботу вечером, то я засел за работу при свете лампочки, хотя мое занятие и казалось мне недостойным. В Эрец Исраэль, в еврейской колонии сиюю я и перевожу слова Ахад Гаама с иврита на язык, называемый "жаргоном", язык, против которого я борюсь, против которого все во мне восстает; именно в эти дни, когда споры разгорелись после Черновицкой прокламации,* именно в это тяжелое время, когда оказались запруженными все истоки нашего единственного национального языка, так что вот-вот от него и следа не останется нигде, кроме захолустного района Уайтчепл в Лондоне, где Бреннер из последних своих сил создаст последний оплот для иврита — "Меорер" ("Будильник"). Но, несмотря на это, не вижу возможности поступить иначе. Не сидеть же сложа руки в такую пору, как нынешняя, когда Япу и подобные ему претворяют в жизнь свои замыслы и собирают силы, чтобы продемонстрировать их на конгрессе и взять верх.

В субботу я весь день читал про себя свой перевод, чтобы мое публичное чтение лилось бегло, отработывал.

*Черновицкая прокламация В 1908 г. в Черновицах состоялась всемирная конференция идишистских писателей, лингвистов и драматургов. Очевидно, уже в описываемое время была выпущена прокламация о значении языка идиш в жизни евреев.

интонацию голоса, чтобы повышать и понижать его в нужных местах. Была своего рода хитрость в моем выборе, в том, что я предложил прочитать именно "Моше" Ахад Гаама, после того как меня лишили возможности открытого спора. Я был настолько воодушевлен своей хитроумной затеей, что не чувствовал, как летят часы, увидел, что опаздываю, еле успел наскоро перекусить, накинуть свой синий костюм и чуть ли не бегом направился в Народный дом. Зал был полон, горели четыре лампы, а господин Япу со своим мертвенным лицом сидел на трибуне и ждал моего прихода. Увидев меня, он обратился к публике, а затем пригласил меня подняться и начать.

Стоя наверху, я окидывал взглядом собравшихся. Вот возвышается над другими голова господина Дрюбина, он одобряюще кивает мне издали и улыбается. Он здесь со своей семьей, по правую руку сидит жена и по левую дочь. Рядом с ними — Шмуэль Осташинский, и его круглые глаза, направленные на меня, тоже улыбаются. Его низенькая жена шепчет ему что-то на ухо. Даже Бен-Зеэв здесь и по соседству с ним вся его картежная компания. На всех скамьях щебечут сельские девушки, постоянно попадающиеся мне во время вечерних прогулок. А вот и высокий виноградарь из Румынии с его кровотокающими веками. Даже господин Фрейман, карлик, из основателей Ришон-Лециона, здесь. Он сидит в первом ряду и смотрит на меня своими калмыцкими глазками. Чем-то грозным повеяло на меня от этой толпы. Я не косноязычен и не лишен ораторского таланта, но все же начал с дрожью, невнятно и шепотом: "Вен их ту зих цухерн цу вос ди форшер филозофирн" ("Когда я прислушиваюсь к тому, как философствуют ученые"), и вдруг в моем мозгу вспыхивает предостерегающая мысль: "Нельзя тебе потерпеть неудачу!" Сразу же мой голос обрел

уверенность, и около получаса подряд я без запинки читал стройные фразы и чувствовал, что слушатели увлечены, улавливают намеки и следуют за ними. И вот я подхожу к концу и усиливаю голос:

...”И что приходит вам на ум, никогда не сбудется. Вы говорите: будем как ...племена иноземные... Клянусь... рукою крепкою... буду господствовать над вами!”

Какая-то женщина начала аплодировать. Но я не спускаюсь с трибуны, а поворачиваюсь к господину Япу и обращаюсь к нему: ”Эти идеи Ахад Гаама адресованы таким людям, как вы. Восемь дней тому назад вы стояли здесь, демонстрируя усталость души и свое стремление жить только нынешней минутой, не тревожась за великое будущее, выкорчевывая его из своего сердца. На этом месте и с этой трибуны...” И вдруг я был прерван посередине. Господин Япу положил мне руку на плечо и самодовольно сказал: ”Мы не разрешаем начинать дискуссию”. Я настаиваю на том, что не дискутирую, а разъясняю идеи, которые только что читал. Господин Япу стоит на своем. Тут с места вскакивает господин Дрюбин, всегда такой тихий, замкнутый и усталый, и на своем онемеченном курляндском диалекте выкрикивает во весь голос: ”Почему вы не даете ему говорить?” С другого конца зала раздается выкрик: ”Довольно! Не хотим слушать!” Кто-то влезает на скамейку и гасит одну из ламп. Собравшиеся в зале встают. Господин Япу хватается свою шляпу и исчезает с трибуны. Кто-то опять влезает на скамейку и гасит вторую лампу. В зале полутьма, волнение и большая суматоха. Однако мое положение теперь уже не похоже на то, в котором я был тогда, несколько месяцев тому назад, в свой первый вечер здесь в доме Бен-Зеева. До моего слуха доносится звонкий и тонкий голос Осташинского, усиливающий-

ся и в грозном протесте поднимающийся до крика: "Кто вы такие?! Нет у вас права говорить от имени всего ишува! Самозванцы!" Его поддерживают Дрюбин со своей семьей и еще несколько виноградарей, которых я знаю в лицо, но не по именам, к ним присоединяется даже несколько местных девушек. Когда я сошел с трибуны и подошел к этой группе, все стали пожимать мне руки и ободрять, и мы вместе выходим на улицу колонии, а та женщина, которая аплодировала, госпожа Пухачевская, приглашает всех к себе домой. Одна из девушек запеваёт: "Быстрее, братья, быстрее!" (песня билуцев)*, виноградари распрямляют плечи, словно к ним вернулись дни молодости, и шагают бодрым шагом вдоль по улице, подхватив песню. Наше шествие превращается в демонстрацию.

Возле дома, стоящего на небольшом холмике за синагогой, нас встречает господин Пухачевский, человек не очень-то компанейский. Он открывает нам дверь, не зная, в чем дело, и его удивленное лицо не выражает особой приветливости. Человек он худощавый и ввиду своей худобы кажется выше, чем он на самом деле; его густые седые брови нахмурены, и похоже на то, что он недоволен всем миром. Голова у него лысая, и когда он говорит, кожа лысины становится красной и фиолетовой. Даже когда он согласен с вами и поддерживает вас, все же кажется, будто он сердится и бранит вас. Но из-под его нависших бровей застенчиво и испуганно блестят голубые глаза, бросая взгляд искоса, и в них можно увидеть больше смущения и страха, чем строгости и злобы. Когда мы вошли на террасу, он сразу оказался оттесненным в сторону и замкнулся в себе, робея перед деловитой супругой.

*"БИЛУ" - студенческая группа пионеров первой али, организованная в Харькове после погромов 1882 года.

Мадам Пухачевская всю свою жизнь, с раннего детства и по сей день, отличалась красотой и горячим нравом и весьма гордилась этими качествами. И образование у нее было. В ее большом дамасском медном бюро лежали вперемешку брошюры "Русского богатства" и "Гашилоах". Сама она пишет рассказы о жизни страны, и ее иврит сочен и звенит колокольчиком. В скромной позе супруга, тушевавшегося в ее тени, можно было заметить скрытое недовольство поведением жены. Когда госпожа Пухачевская достигла зрелости, и в ее облике появились первые признаки увядания, она стала тщательно скрывать их обильными юношескими шалостями, став излишне подвижной и кокетливой. Теперь, когда лицо ее напряглось, в нем появилось что-то птичье, вид хорошенькой птички, рядящейся в красивые перья и без усталости порхающей с ветки на ветку. В ее лице с круглыми и блестящими глазами, тонким прямым носом, казалось, вовсе нет рта и подбородка, а сам нос, словно клюв, во время речи открывается и щебечет.

Было нас около десяти человек. Мы сидели на стульях за столом, и арабка подносила нам стаканы с чаем. Господин Дрюбин говорил мне, что его товарищ виноградарь Любман зовет меня на обрезку его виноградника и работы у него на две недели, и он советует мне пойти к нему. Затем он несколько насмешливо обращается к господину Пухачевскому:

— Будьте осторожны, этот молодой человек еще всех нас, стариков, в угол оттеснит.

Господин Пухачевский, известный садовник, из новаторов, применявший множество теорий и собственных изобретений, поднял на меня свои нависшие брови, посмотрел на этого непрошеного конкурента и не сказал ни слова. Слишком мелок я был в его глазах, чтобы во мне видеть угрозу своему положению.

Сразу после чаепития я заметил по выражению лиц собравшихся, что они ожидают чего-то важного и что вся компания собралась в этом месте не случайно. Хозяйка сидела во главе стола, приглаживала обеими руками свою высокую прическу, и воротник ее белой блузки слегка вздрагивал, когда она, словно в смущении, смеялась. Выстрелив коротким блестящим взглядом из своих круглых глаз, она приступает к делу:

— Пришел ответ из Реховота, они согласны, даже Моше согласен.

О чем писали в Реховот, кто этот Моше, который согласен, с чем он согласен — ничего этого я не знаю, и даже простые слова Остащинского не прояснили мне ничего:

— Что ж, начнем с нашей колонии.

Тут в беседу вступает Дрюбин:

— А с Меировичем вы говорили?

Один из виноградарей отвечает ему:

— Я говорил с ним долго, но он, как всегда, не говорит ни да, ни нет.

— Позор! — обозлился Дрюбин.

— Говорил я вам, — отрезал Остащинский, и смешинка легкого лукавства блеснула в его больших глазах.

— Конечно. Он всегда так. Ни туда, ни сюда. Как же, агроном, большой специалист. О чем бы ты ни спросил, ответ его всегда такой: ни да, ни нет, — пробормотал господин Пухачевский в свои густые седые усы.

Его супруга кивнула головой, вновь поправила прическу обеими руками и тряхнула воротником блузки:

— Ну, уж ты всегда со своей агрономией.

— И все же, — добавил тот виноградарь, который говорил с Меировичем, — я думаю, что в конце концов он поддержит Фреймана и Япу.

— Ничего еще не решено, все зависит от того, что скажут в Париже, — с насмешкой сказал Осташинский.

Теперь в беседу вступил маленький светловолосый человек лет шестидесяти, с длинным носом и растрепанной бородой, наполовину седой, наполовину цвета ржавого железа, с очками под сморщенным лбом; он говорил обстоятельно, и все лица повернулись к нему.

— До меня дошел слух, что в Париже не очень-то довольны этой деятельностью чиновников.

Все собравшиеся изменились в лице. Хозяйка дома почувствовала мое неведение и начала объяснять мне, в чем дело. Собравшиеся в ее доме — это члены местной группировки "Ционей-Цион". Они намеренно пошли в Народный дом слушать мое выступление, так как представляли себе заранее, что оно не закончится без происшествий. Теперь все собрались вместе, чтобы приступить к делам. Готовятся направить Моше Смилянского на конгресс, он уже дал свое согласие, и теперь срочно нужно организовать продажу шекелей "Ционей-Цион". Она не сомневается, что я присоединюсь к ним.

— Разве это не странное название — "Ционей-Цион"? — спросил я в недоумении.

По искривившимся губам госпожи Пухачевской, которая была упоена жаром своей деятельности, я видел, что она недовольна моим вопросом. Возможно, она думала, что есть какая-то правота в ропоте этих парней, которые начали приезжать в страну и выражают недовольство, озлоблены, ничего им не нравится, все кажется уродливым и неисправимым. Она передернула пышными сборками рукавов на своих плечах и сказала:

— А что бы вы предложили сделать, чтобы выбрали Моше Смилянского? — и в голосе ее прозвучала нота недовольства.

Я не знал, что сказать. Выходит, что она права. Что же я сделаю? Душу кололо сожаление о нечаянно высказанном сомнении. Она достала из конверта несколько книжек с шекелями, раздала по одному каждому из собравшихся, объяснила, что вписать, затем предложила избрать исполнительный комитет из трех человек. После нескольких отказов с общего согласия были избраны: госпожа Пухачевская руководителем комитета, а тот виноградарь, который вел переговоры с Меировичем, и я — ее заместителями. Господин Дрюбин был назначен кассиром. Кто-то предложил:

— Может быть, созовем собрание?

Тут же раздался дружный протест:

— Ни в коем случае, никаких собраний.

С тем мы и разошлись по домам. Мне не особенно нравилось общество, собравшееся в тот вечер, и мое избрание в комитет. Долгие часы я в ту ночь расхаживал в ночной темноте по колонии, с печалью и тоской в душе, тоской человека, свернувшего с пути, который он избрал себе. Жизнь отдельного человека похожа на жизнь общества. Бывает, кто-то совершает решающий шаг в своей жизни и затем видит, что ошибся, и хотя потом он всю жизнь старается исправить эту ошибку, она его преследует. Даже его благие намерения и добрые дела отмечены печатью того первого греха, который находится в их фундаменте. Грех ишува — в самой его основе и не может быть исправлен иначе, как путем коренных перемен. Я бродил, словно тот пес, который заблудился и теперь с лаем обнюхивает всякий комок земли, чтобы уловить знакомый запах, который приведет его к желанному месту. Но то, что улавливал мой нос в тот вечер, не вело меня к тому месту, куда я так странно рвался. Где же я? Я воздевал глаза к небу и звездам и в недоумении спрашивал:

”Где я?” После трех месяцев скитаний, труда и перемен, перемен в моем бытии, одежде, питании, во всем образе жизни, я вновь попал в колею старого, оказался оттесненным в пространство, из которого вышел: я вновь член комитета ”Ционей-Цион”!

Нет, ничего нового не сулит мне общество тех, с кем я просидел в этот вечер. В них сохранился еще какой-то крохотный остаток веры в себя, но они устали и измучены, где им найти силы оторваться от существующего, погруженного в низость, когда они сами в нем увязли, осознанно или нет. Если имеется выход из этой трясины, то он в помощи извне, он придет не из круга этих людей, хороших и плохих одновременно, а вопреки им, вопреки их достижениям, взглядам и желаниям, вопреки их ежедневной и ежечасной рутине. Выход в тех, наспех набросанных строках, которые я отправил в Петах-Тикву, к товарищу, которого не знаю, но ответа которого жду-не дождусь.

Видели ли вы когда-нибудь скворца, прибывшего с первым проблеском весны, упоенного и ошеломленного, летающего от цветка к цветку и любующегося волшебными сверкающими красками — а тут вдруг издалека приходит грозовая туча и обрушивает на него весь поток своих вод. Тяжелеют его крылья, отвисает хвост, мрачными становятся краски, и он бессильно прижимается к прибитому кусту и ищет прибежище под ним, спасаясь от потопа? Вот таким скворцом был я.

Глава XIII

В КОЛЕЕ

Итак, обрезке лоз в колонии пришел конец, и мои садовые ножницы уже не висят больше на гвозде у моего изголовья. После десяти дней безделья господин Дрюбин вновь привлек меня к работе в своем хозяйстве, поскольку начался сезон мотыжения земли в виноградниках. Главную работу выполняют старый Ибрагим со своим сыном Юсуфом, которые вспахивают землю между рядами. Но поскольку плуг нельзя слишком приближать к лозам, чтобы не повредить их, остается полоса невозделанной земли, узкая и длинная, покрытая буйными зарослями сорняков. Не остается ничего другого, как вскапывать эту полосу вручную мотыгой. Сезон рыхления короток, так как травы разрастаются с большой быстротой под горячими лучами солнца, сильно греющего в месяц Адар. Поэтому виноградари спешат и набирают много рабочих, чтобы закончить работу в срок. Я оказался единственным евреем среди целого сборища арабских мальчишек, каждый из которых был на несколько лет моложе меня. И вновь повторилась для меня та же печальная история унижения, слабости и страдания, доведших меня на сей раз почти до слез. Мотыга слушается лишь того, кто владеет ею, и невозможно заставить орудие труда двигаться быстрее, прилагая больше сил. Прохаживаются по рядам смуглоплечие парни, каждый на своей полоске, расставив ноги и пригнувшись, со

вздувающимися штанами в складках, и мотыги в их руках так и взлетают, так что серебрястые лезвия сверкают в солнечных лучах и играют в их руках, как смычок в руках скрипача, и слышится лишь равномерный хруст, напоминающий звук "па-па", в момент, когда лезвия врезаются в грунт. А я на своем ряду, как ни стараюсь, не могу поспеть за ними, постепенно отстаю и остаюсь последним. Попытка одержать верх над этими сорванцами заставляет меня гнаться так, что я теряю последний остаток воздуха в легких: не утешает меня улыбка господина Дрюбина, который говорит, что всему свое время и все дело здесь в привычке и нескольких свежих мозолях на ладонях, которые в конце концов заживут. Я был совершенно разбит, сломлен и несчастен в тот день, и у меня не было ни силы, ни желания идти к почтальону. Преодолеть слабость заставило меня только затянувшееся молчание оставшихся за морем, сильно беспокоящее меня, и то, что именно за день до того в Яффском порту пришвартовался большой корабль, прибывший из Триеста.

Почтовые послания сближают далекие сердца и улаживают часы жизни одиноких и забытых. Это великое дело в любом месте. Но трудно представить себе сегодня, чем были письма для нас в этом заброшенном углу турецкой империи, с ее неисправными путями и странным распорядком жизни, к которой были причастны многие другие государства. В Иерусалиме и остальных провинциальных городах действовали канцелярии трех монархов: Франца-Иосифа, Николая II и Вильгельма II. Портреты их, с характерной для каждого стрижкой бороды, красовались на марках их государств, так что казалось, что все стараются для почты Эрец Исраэль, все так и мечтают поскорее доставить нам письма оттуда, из-за моря; только для

меня в их сумках, как правило, не оказывалось ничего. Скоро исполнится три месяца с тех пор, как я оставил отчий дом, и с тех пор я в глаза не видел ни одной буквы, за исключением того приглашения на собрание поклонников иврита в Яффе. Это всеобщее молчание причиняло мне сильную боль, я казался сам себе найденышем, прошлое которого погрузилось в безвестную могилу, так что мне остается лишь занимать себя делами Уганды и "Ционей-Цион" в Ришоне и тянуться в хвосте сарафендского стада.

Но вот в этот вечер, когда подошла моя очередь к почтальону, я вижу, что стекла его очков обращены ко мне с большей терпимостью, он потирает руки и шутливо говорит: "Господину Цемаху? На сей раз все корабли прибыли специально для вас!" — и начал выкладывать на стол семь писем одно за другим. Я одним махом сгреб их все и бросился бегом в свою комнату, словно маленький зверек, у которого добыча уже в зубах, и он волочит ее со страхом, что отнимут, в свою нору.

Письма оказались разного сорта. Вот передо мной первый стон матери, оплакивающей потерянного сына; в мягкой бумаге и расплывшихся чернилах, в стершихся буквах еще сохранились следы горьких слез, пропитавших ее послание. И все же в ее разбитом сердце осталось место для маленьких забот обо мне, и она спрашивает, не нужно ли мне постельных принадлежностей. Нет у меня слов утешения для нее, и в постельных принадлежностях я тоже не нуждаюсь. Вот крик души отца — крик души гордой и раненой, не знающей уступок и компромиссов, но все же истекающей кровью. И для него нет у меня ответа. Весь мир его я разрушил. Свидетельство раввина я уже не получу, крупным купцом, торгующим лесом и шерстью, тоже не стану. А вот слова сестер, длинные

разговоры с претензиями, недовольством, упреками и жалобами, истинное предназначение которых — скрыть тайную зависть ко мне, исчезнувшему и отправившемуся в дальние дали. А вот письма товарищей, полные восхищения моим мужеством и отважным броском в неизвестность и с заверениями, что все стоят плечом к плечу со мной в единой борьбе, и тому подобные высокие речи. А я думаю: увы мне, если заговорю, и увы мне, если промолчу. Если бы они увидели меня в винограднике Дрюбина в моем жалком виде среди арабских юнцов, если бы они знали о Сионе, его городах и селениях и его колонистах, что знаю я, то не возносили бы свои голоса так высоко. Даже для них нет у меня в душе ничего, кроме большого и грустного молчания. Но к письму матери был приложен клочок бумаги, коричневый, толстый и шероховатый, похожий на ту оберточную бумагу, в которой я храню продукты в своей кладовке; на этом клочке слабой и дрожащей рукой было нацарапано несколько букв. По цвету бумаги и оставшемуся запаху клея, исходящему от нее, я узнаю, что записка — от старика реб Тувия.. Моему учителю и наставнику мне есть, что ответить. К тому, что я сделал, и он причастен. Когда я опишу ему начало пути еврея, живущего собственным трудом и содержащего себя, он наверняка склонит голову и поймет, что двигало мной.

Реб Тувия — глубокий старик и лучший из учителей в нашем городке. Вся жизнь свою он воспитывал и обучал Торе мальчиков из семьи Цемах — поколение за поколением. В числе его учеников был и мой отец. Еще будучи молодым человеком, ездил он к Коцкому рабби, а когда тот перебрался в мир иной, он остался ему верен и не примкнул ни к какой другой хасидской секте. Иногда он даже по субботам и в праздники демонстративно молился в маленькой молельне позади

синагоги. В качестве признака верности покойному Цадику (праведнику) он всегда носил рубашку той же формы, какую носил тот: с манжетами без пуговиц и белыми украшениями у воротника; он унаследовал его привычку интересоваться книгами по вопросам морали и метафизики. Он был низок ростом, широк в плечах, с короткими ногами и руками, так что тело его казалось квадратным, и всем своим видом напоминал еврея-лесоруба из лесов Коженица. Над этим квадратным коротким телом возвышалась большая голова, круглая, без всякого перехода от плеч к затылку, так что облик его напоминал снежную бабу, какую дети лепят зимой. Бородка у него маленькая, растрепанная и ничего не выражающая. Но глаза его отличались чистой воды голубизной, они были круглы и выпуклы и излучали его глубокую веру, упорство, широту познаний и богатство духа. Мудрствовать не любил и обеими руками отмахивался от бессодержательной схоластики. Сила его была в простоте толкования, девиз его гласил: страницу Гемарры с толкованиями Раши и другими приложениями изучить тут же на месте ("А блат Геморре офн орт"). Малышей учить он не брался, не набирал также больших групп учеников, всегда довольствуясь тремя-четырьмя из числа самых лучших парней и давал им уроки с 5 часов утра до 10. Не было системы обучения лучше той, которую он применял. Хотя он и требовал высокую плату за преподавание, все же на свой доход учителя на мог прожить. Жена его покупала гусей на рынке, откармливала и продавала в дома богачей и тем самым вносила свою долю в доход семьи, а он сам занимался одновременно Торой и ремеслом. Ученики сидели в его комнате и излагали перед ним изученное, а справа перед ним на маленьком столике лежали куски толстой шероховатой коричневой бумаги и стояло блюдо с клеем.

Торопливыми опухшими руками сворачивал он бумагу с помощью белого ножа из слоновой кости, складывал ее в квадратные и треугольные кульки и смазывал края бумаги клеем, макая в блюдце деревянной щепочкой. После урока он просил своих учеников отнести кульки купцам и получить с них деньги. С большим знанием дела и большой целеустремленностью сочетал он труд с учением. Он жил на краю еврейского квартала возле нового рынка, и его бедный домик граничил с домами польских скотобоев и кожевников. За его двором простирались и зеленели до реки Плоны огороды гоев. По тропинке между огородами реб Тувия каждое утро перед уроком спускался к реке и окунался в ее воды. Зимой на рассвете можно было видеть гою-соседа в его дворе и реб Тувию в соседнем дворе за одной и той же работой: с топором в руках занимались они колкой дров для печки. Даже воду он собственноручно приносил из колодца на новом рынке. И тот, кто не видел его предрассветной порой, одетым в серую телогрейку, подбитую ватой и опоясанную веревкой, с коромыслом на плечах и двумя ведрами на его концах, осторожно переступающим по скользкой обледенелой земле, тот в жизни своей не видел истинно великого человека. Несколько лет провел я у него под крышей, видел скромный образ его жизни, покоровшей мое сердце. На рассвете того нудного и дождливого дня месяца Мархешвана мы проходили с ним методы "исправления", самые трудные приложения к первой странице трактата "Нечистая". Мы разбирали спор между Шамаем и Гилелем о том, можно ли исправить женщину, а в тот же день после обеда я покинул городок и не вернулся. А теперь передо мной лежит записка реб Тувии с очень мягкими словами на толстой шероховатой оберточной бумаге. Он писал

мне, что во время праздника Суккот, не поставив в известность меня, он ходил к моему отцу и отказался от платы за преподавание, поскольку я сделался его истинным последователем и учеником. А теперь он настоятельно просит меня пощадить его старость, выбросить из головы сионистского беса и возвратиться. Сердце мое болит за него. Несмотря на это, приготовлен мой ответ ему, убедительный ответ, понятный для него. Но все оказалось не так просто. Очень печален конец этой истории. Полтора года спустя, когда я вернулся в свое местечко мириться с родителями, я случайно столкнулся с ним на улице и поспешил первым приветствовать его. Лицо его сильно вспыхнуло, он уперся взглядом своих голубых глаз в землю и в гневе пробормотал: "Нельзя смотреть в лицо отступнику". Он перешел на другую сторону улицы и не помирился со мной. И по сей день еще душа моя скорбит о том, что он так оттолкнул меня.

В той пачке писем, лежавшей в беспорядке на моем столе, оказалось еще одно послание — из Петах-Тиквы, от Элизера Шохата. В своем коротком ответе он сообщал мне, что ознакомился с моим произведением и нашел его интересным. Он просит меня прибыть в субботу вечером в Яффу, в дом воспитательницы детского сада Тмимы Суховольской, у которой время от времени собираются несколько товарищей и обсуждают идеи, сходные с моими.

Интересно порой разглядывать почерк человека незнакомого, если в нем есть за что ухватиться, какой-то намек на его характер. Долго вертел я в руках этот лист бумаги, рассматривая его, читая и перечитывая вновь и вновь. Мне очень понравились эти четкие буквы с небольшим наклоном, с ясностью и прямоотой их начертания и соединения. По-видимому, не обманул меня горьковский босяк, да вознаградит его судьба.

Дело было во вторник вечером, и до встречи оставалось четыре дня. Каким-то образом придется скоротать это время и ускорить его ход, насколько возможно.

В субботу после обеда я вышел и направился в Яффу. Вокруг меня стояли миндалевые рощи в белоснежном своем цветении. И от горьковатого их аромата слегка першило в горле. Сефарды и курды, работавшие на винодельне, надели на головы тюрбаны и взяли в руки гирлянды желтых кораллов, а рядом с ними их полные жены красовались в цветных нарядах и красных накидках; все разбрелись по пескам и дорогам и выделялись алыми пятнами среди белизны цветения и сверкания солнца. Молодые среди них, не соблюдавшие уже столь строго заповеди субботы (не позволяющие долгой ходьбы), направлялись в Яффу к родственникам. Возле Бет-Дагона мы отделяемся от толпы гуляющих и целой группой поворачиваем налево, около десятка евреев с их женами и малышами, уверенные в себе и веселые. Из беседы с ними на ломаном иврите, которым они успели овладеть, и на скудном арабском, которого успел набраться я, мне стало известно, что мужчины возвращаются в Ришон перед рассветом в три часа, чтобы успеть на работу после первого гудка на винодельне. Мы договорились, что я встречу с ними в условленном месте и присоединюсь к ним, поскольку и мне надо вовремя быть на работе с моей лопатой. К Яффе мы подошли с закатом, но мои попутчики не дали мне проститься с ними у ее окраины и насильно увлекли меня в темный переулок, в дом своих родственников. Там справлялся какой-то праздник, не то помолвка, не то Бар-Мицва — я так и не понял. Во всяком случае там посередине комнаты на ковре сидел смуглый подросток, на вид лет 13, с парой больших угольночерных глаз, одетый в зеленый шелковый халат и с низким круглым тюрбаном на голове,

расшитым золотом по краям. Масса людей столпилась здесь в один строй, мужчины и женщины вместе, все очень надушенные и притопывающие мелкими шажками и беспрерывно движущиеся по кругу, гортаня на странном языке и толкаясь в комнате, которая наполнилась духотой, испарениями и запахом арака и египетской пахучей приправы. Вдруг вскакивает одна старуха с лицом, горящим как огонь, бросается на ковер, обхватывает голову подростка, целует и обнимает его, прижимает его несколько раз к своей иссохшей груди, а все собравшиеся при этом пронзительно визжат и хлопают в ладоши. Не помогли никакие мои увертки, меня заставили опустошить несколько рюмок, так что изо рта у меня стало отдавать араком и египетской приправой, и я тоже оказался втянутым в этот движущийся круг, и вот уже мои ноги тоже движутся и притопывают в том же ритме, пока я не улучил подходящий момент в сгустившейся темноте и не скрылся потихоньку. Когда я вышел в переулок, уже стемнело, а с набережных Яффы раздавался плеск морских волн.

После долгого блуждания по улицам Неве-Цедека я наконец-то постучался в дверь воспитательницы Тмимы. Открыла маленькая девушка с бледным лицом, тонким костлявым носом и светящимися глазами, широко раскрытыми, цвета не то голубого, не то серебристо-серого. Тяжелый узел волос льняного цвета лежал вокруг головы и, казалось, пригибал ее фигуру книзу. По-видимому, она знала, что я был вызван сюда, даже назвала меня по имени и провела к себе в дом. Комната ее оказалась похожей на мою – продолговатой и тоже обставленной главным образом ящиками из-под жестянок керосина. Эта красивая софа также получилась из ящиков, на которые положены доски. Но все здесь сверкает чистотой, все покрыто

белым, повсюду салфеточки ручной вышивки. В свете лампы я разглядел человека, ужинавшего за столом. Когда я вошел, он поднялся, поправил усы и приветствовал меня. Возле меня стоял человек лет тридцати, худой и спокойный, с серьезным выражением лица и слегка опущенными плечами, которые он словно старался сделать уже под черной рубашкой, что была на нем. Острие бороды сильно удлиняло его лицо и делало выше его лоб, пересеченный складками и омраченный раздумьем. Его черные волосы спускались к затылку, и у висков поблескивало уже несколько нитей седины. Его светло-карие глаза со стальным блеском зрачков таили в себе печаль, а что-то вроде рта свидетельствовало о большой выдержке, работе над собой и требовательности, но также и каком-то страдании, которое хочет остаться скрытым, но не может. Он первым сказал мне "шалом", назвал себя, протянул руку и спросил: "Товарищ Цемах?" — и какая-то нерешительность прозвучала в его голосе. Я знал, откуда эта неуверенность. Хотя мне уже исполнилось восемнадцать, и я считал себя взрослым во всех отношениях, лицо мое не свидетельствовало об этом. У меня был вид подростка в начальный период его созревания, когда он внезапно сильно вытянулся в длину, и руки и ноги его тянутся и болтаются вокруг него во все стороны, а он еще не привык к их длине и они мешают ему. Отсюда и это удивление в его голосе. Ему не хватало воображения установить связь между пареньком, стоящим перед ним, в котором как будто нет ничего, за исключением крупинки юношеского обаяния, и тем продуманным, острым и обличающим сочинением, которое я послал ему в Петах-Тикву.

Воспитательнице Тмиме, главным занятием которой была возня с малышами, моя молодость не казалась недостатком. Наоборот, я показался ей одним из ее

подопечных, она тут же потащила меня к столу, усадила на один из ящиков и поставила передо мной тарелку, чтобы я ужинал с ними. Вдруг она удивилась:

– Неужели ты пьешь арак?

От меня все еще несло египетской приправой, и она не сдержалась и начала читать мне мораль. Я рассказал им, что произошло со мной, когда я шел с толпой попутчиков, и все мы развеселились.

– А почему у тебя рука перевязана грязной тряпкой?

– Пустяки, – отмахнулся я, – слегка натер кожу ручкой мотыги.

Тмима не оставила это так, смазала больное место белой мазью и наложила чистую повязку. Слово еще один малыш прибавился к ее детскому саду.

После ужина Элизер Шохат сказал, что надо подождать прихода еще двух товарищей, а пока мне имеет смысл ознакомиться с обращением, которое будет обсуждаться сегодня вечером. Это послание называлось: "Призывный клич, обращенный к молодым сынам Израиля, сердце которых с их народом и Сионом". Под ним стояла подпись: "Группа молодых людей Эрец Исраэль". Речь в послании шла об обществах бойцов "по 100 и 50 человек, которые прибудут в страну, чтобы обрабатывать ее земли и в конце концов поселиться на них почти без всякой помощи со стороны или при минимальной помощи, которая может быть получена в кратчайший срок... Истинные солдаты народа, люди, здоровье которых, возраст и семейное положение позволяют сплотиться в организацию с крепкой дисциплиной". Заканчивалось послание торжественно: "Вооружитесь любовью к труду и бесконечным терпением – и придите!"

Во время чтения я чувствовал какую-то тень разочарования и даже некоторое недовольство. Наше поколе-

ние как огня страшилось высокопарных фраз, и ему чужд был приподнятый, высокий стиль, избыточный требованиями и призывами к жертвенности. Высокие слова и призывные кличи, позднее оказавшиеся развенчанными, погружали сердца в тоску и отчаяние. Это поколение воспитывалось на обнаженной и суровой правде Менделеева, на жестоком реализме Эльякума, на бичующей иронии Бреннера, на эмоциональной глубине стихов Бялика, за каждой буквой которых скрывалось очень много, в несколько раз больше сказанного прямо. Возможно, у меня к этому примешалось и кое-что из учения ребе Тувии, который заставлял учить на месте страницу Гемарры с комментариями и привил мне уважение к простоте. Но в призывном кличе, лежавшем передо мной, были и уколы, и острые выпады, и намеки, и насмешки над Герцлем и его поездками к султану и во дворцы королей, и это бередило незажившие раны. Несмотря на то, что история с Угандой разрывала душу на части, еще не угасло чувство благодарности, любви и уважения, еще не исчезло обаяние, очарование Герцля, хотя мы и отошли от него. Сердце как-то отказывалось следовать за этими словами, лежавшими передо мной, что-то даже восставало против них. Но я не осмеливался высказать свое впечатление и, отдав листки Шохату, лишь спросил:

— Кто написал это?

— Говорят, что Виткин.

— А кто такой Виткин?

— Учитель в селе Масха.

— А кто же эта группа молодых, именем которых он подписывает?

— Наверно, несколько его товарищей из Нижней Галилеи, а, возможно, выдуманная группа. Но каково твое мнение о его идее?

— Я прочитал лишь бегло, — бормочу я уклончиво, — но мне кажется... может быть, я ошибаюсь... но для меня... да, для меня... после того как я уже здесь и ищу ответа на мои вопросы... Ответ на вопрос, что мне делать здесь?.. Завтра, завтра с утра? На это Виткин не отвечает. Для меня здесь нет ничего.

Во взгляде Шохата выразилась нерешительность. Возможно, он вновь подивился тому противоречию между лицом юнца, в котором не выражалось ничего, и обрывками фраз, которые тот произносит и в которых все же что-то есть. Шохат не знал того, что на протяжении целых трех месяцев, днем и ночью во мраке моей комнаты эта мысль "что мне здесь делать?" постоянно мучила меня. Но завязавшаяся беседа вдруг оборвалась. Послышался стук в дверь, и на пороге показались два товарища, которых мы ждали — Туркенич и Шифрис.

Глава XIV

ТРУД РАДИ ТРУДА

Допоздна засиделись мы в ту ночь в доме воспитательницы Тмимы: пили горячий чай, обсуждали и анализировали "Призывный клич" Виткина со всех сторон и во всех деталях. Я вначале отмалчивался, поскольку был самым младшим в компании; однако мнения, которые я услышал, были подобны моим, а опасения — моими опасениями. Три месяца уже нахожусь я здесь и не заметил, что идеи, которые считал безраздельным достоянием своей души, которые я вынашивал в одиночестве своей комнаты, по сути дела вовсе не мои и не чьи-либо: они носятся в воздухе, и каждый желающий прислушивается к ним и берет от них часть по своему разумению. Хорошо сказал Туркенич, насмешливо посверкивая своими черными глазами: "Друг наш Виткин, автор "Призывного клича", имеет теплое еврейское сердце, но не слишком разбирается в таких делах, как финансирование, кредит и порядок его погашения. Об этом позвольте высказать суждение вашему покорному слуге, ибо, не найти вам в этом деле человека опытнее меня. И позвольте мне заодно серьезно вас предостеречь: без жертвований — организация этого не осуществима; а тот, кто получает займы от благотворителей, обычно не в состоянии выплатить их в установленный срок; разве что сам Всевышний за него рассчитается, а он сам — ни за что на свете. Поэтому он вынужден бывает обратить-

ся за помощью в другое место, а всякому известно, что второе подаяние горше и пагубнее первого. И так дело возвращается к исходной точке”.

Хорошо сказал и Шохат со своей серьезной обстоятельностью и горькой усмешкой жалобы на губах:

— Откуда у него уверенность, что новые поселенцы будут лучше тех, которые уже здесь? Лучше своих предшественников? Лично у меня такой уверенности нет. И вообще, если призывают людей, то сам по себе такой призыв уже содержит в себе заверение, что кто-то несет ответственность за прибывающих, делит их заботы и обеспечивает их потребности. А кто же будет их расселять? Кто позаботится? Кто обеспечит? Опять начнутся претензии, недовольство, жалобы, появятся обиженные, потерпевшие, чиновники, разногласия. Очень боюсь я всего этого. Согласен с Туркеничем: все опять пойдет по-старому.

Хорошо кипятился и Шифрис, толчками выбрасывая слова из горла, и суровость стояла в голубизне его глаз:

— Один из пунктов здесь особенно опасен и нагоняет на меня страх. Молодые парни из ”галута”, вовсе не намеревающиеся прибыть сюда, тоже включаются в организацию, но будут вносить в нее нечто вроде подушного выкупа в виде подаяний и пожертвований, которые они будут собирать для своих товарищей — будущих поселенцев. Иными словами, ко всем бренчащим копилкам и кружкам для сбора милостыни прибавится еще одна.

Когда же подошла моя очередь, я опять забубнил свое:

— Хотел бы я знать, чем мне здесь заниматься — вот завтра утром? Правда, я знаю, что буду делать с утра: пойду вскапывать виноградники господина Дрюбина вместе с целым полчищем арабских мальчишек из

Сарафенда. Но хотелось бы знать, ради чего? Какой смысл в этой работе? "Призывный клич" ни о чем не говорит мне. Он говорит о долге перед страной и любви к ней, но поскольку я уже прибыл сюда, тем самым уже принял на себя этот долг и любовь. Но чем мне заниматься здесь? Ради чего?

— А разве сам по себе труд для тебя ничего не значит? — с упреком спросил Шифрис.

— Этого я не сказал. Правда, пока он еще причиняет мне много страданий, но не жалею. Лишь стремлюсь понять — ради чего?

— Придирчив ты очень, не говоришь, а прямо-таки желчь изрыгаешь, — полусерьезно, полушутливо вмешался Туркенич, смерив меня своим колючим взглядом и сжав свои губы под черными шелковистыми усами. — Тору ты в синагоге или ешиботе изучал?

— Изучал.

— Ради чего?

— Ради нее самой.

— Не убудет тебя, если будешь выполнять работу в виноградниках ради нее самой.

Он как будто бранил меня, но лицо его смеялось. Пристыженный, я задумался над его словами:

— Труд ради него самого... Что-то верное тут есть.

Тут на помощь мне пришел Шохат:

— Намерения товарища правильные. Мы еще не исполнили своего долга, если только критикуем "Призывный клич" и отвергаем его методы. Без сомнения, мы должны собраться с силами и найти другой путь, если этот нам не нравится. Идея организации остается в силе, и лучше нам приступить к обсуждению, вместо того, чтобы довольствоваться только критикой и отрицанием.

— Ты говоришь о силах, — заговорил Туркенич, — что ж, силы есть: этот товарищ из Ришона уже говорил

в другом месте, что хотел бы перевернуть всю жизнь. Однако, пока нас всего четверо, этого недостаточно даже для формирования комитета организации.

Несмотря на все это, мы приступили к обсуждению идеи организации и сбора сил. Тяжелые, как булыжники, слова раздавались в нашем кругу в ту ночь. О проклятии безделья ишува, о преступности его образа жизни, поскольку он не содержит себя сам и влачит жалкое существование за счет подаяния, а чужие делают в нем всю работу. Нет у евреев никакого права собственности на их колонии, так как трудящиеся в них приобретают это право, здесь ничего не решают купленные векселя, кушаны и книжки "Табу" * Отсюда деградация этих колоний, запустение и уход из них молодежи, и в конце концов им предстоит погибнуть, если мы не выступим против порока безделья и не провозгласим взамен его идею труда. По сути дела нет никакой разницы между богословами в ешиботах Иерусалима и колонистами. Последние даже хуже первых. В Иерусалиме и других святых городах живут по-старому, там всегда сидели бездельники в синагогах и молельнях и кормились по расписанию в домах богачей. Нет обмана в их поступках. Но эти поселенцы — крестьяне, вся жизнь их — обман и пыль в глаза.

Цель поселения очень достойна и еще проявит себя в будущем, но время ее еще не пришло. Люди, живущие трудом своих рук — вот веление часа. Нет в этот момент большего долга. Не будем же заходить слишком далеко. В этот час и малые дела являются великими. Пусть же сначала каждый предъявит требования к себе, прежде чем будет обещать что-либо другим.

* Кушан. Табу — документы о приобретении недвижимого имущества.

Туркенич вдруг спросил:

— Сколько молодых парней можно было бы расселить в колониях?

— Тысячи четыре, — ответил ему Шохат.

— Четыре тысячи!

Туркенич обратил свой вопрос в шутку:

— Пока нас четверо, так что каждый из нас противостоит тысяче. Можно сказать, что это похоже на четыре тысячи, как "тысяча лет на вчерашний день" (А нехтигер тог)!

— Хотя я учусь у тебя математике, — поправил его Шифрис, — но должен заметить, что ты допустил большую ошибку: не включил Тмиму в нашу группу. Нас пятеро, а не четверо, и ты позорно просчитался.

Время было около полуночи. Тмима порылась в своем ящике, обшитом листами из металлической сетки и стоящем на четырех ножках, погруженных в миски с керосином, чтобы по ним к продуктам не забрались насекомые. Она немало потрудилась, чтобы собрать из остатков еды субботнюю трапезу для своих гостей. Услышав, что мы говорим о ней, она подняла свою голову с тяжелым золотистым узлом волос и воскликнула:

— Не нашли более интересной темы?

— Это все Шифрис, — шутливо извинился Туркенич, — он начал тут отстаивать права женщин.

Шохат не обращал внимания на этот диалог и казался даже недовольным тем, что дело принимает шутливый оборот. Он вернул разговор в серьезное русло:

— Не в количестве дело. Когда прояснится идея, будем знать, что нам предстоит. С каждым кораблем сюда прибывают несколько парней, отправляются, как заблудшие овцы, в Петах-Тикву, в Вади-Ханин и в Реховот, а нам нечего дать им, за исключением нашего

опыта. Но уж это мы обязаны им дать и сплотить их для единой цели. Об этом и писал мне наш товарищ из Ришона, и была в его письме одна фраза, которая понравилась мне: "Как Герцль в свое время провозгласил необходимость овладения общинами, так провозгласим же теперь овладение трудом в колониях". Эта идея кажется мне стоящей.

Еда стояла на столе, и кружки были полны кипятка, а разговор сам собой перешел на овладение трудом. Правду говоря, в тот момент, когда я поставил рядом оба этих слова, то не придавал этому понятию никакого особого смысла и считал его просто случайным выражением. Вероятно, я тут непреднамеренно позаимствовал стиль Фейерберга, всегда говорившего о больших завоеваниях. И уж тем более, надо сказать, я не предвидел, какое будущее ожидает эти два слова — им предстоит стать девизом для целого поколения, почками, которые раскроются и породят новые побеги. Как порой счастье улыбается человеку, так порой улыбается оно и словам, исходящим из его уст, когда для этих слов имеется готовая почва и им навстречу открыты сердца. Так произошло и с этим сочетанием слов. Оно привилось в ту же ночь и вошло в обиход, так что забылось его происхождение, мысли собирались и сплетались вокруг него, и все предложения и замыслы ухватывались за него. Если посредством десяти повелений Всевышнего был сотворен мир, то здесь, в комнате Тмимы, также оказался сотворенным маленький мирок, который начал сплетаться и разрастаться из этого выражения. Вот уже Туркенич говорит "овладение трудом" и добавляет свою крупицу содержания к этому понятию; вот и Шифрис говорит "овладение трудом" и добавляет к этому крупицу своего. Так расширяется значение этих слов, растет их вес, и они превращаются в девиз, объемлющий все. Так, порой

хранишь веточку роз на своем столе, всю скрюченную и свернутую, без признаков красоты и великолепия, с бутонами, спрятавшимися в зелени, и колючими шипами на стеблях — и вот повеет ночной ветерок, а утром ты открываешь глаза — и перед тобой расправил лепестки раскрывшийся цветок, радуя глаз, веселя душу и развлекая разнообразием красок, заполняя все пространство комнаты своим ароматом.

Мы твердо решили, что вчетвером представляем собой нечто вроде тайного комитета и будем встречаться в этой комнате раз в две недели, чтобы сформулировать пункты программы "овладения трудом" и его методы. А пока каждый по месту своего жительства должен привлекать на свою сторону сторонников этой идеи, готовить почву и завоевывать сердца. Может быть, есть смысл направить посланца в Иерусалим, чтобы тот встретился с парнями из ешиботов и провел среди них такую же работу. Пусть откроет перед ними двери литературы, даст им в руки брошюры с произведениями Лилиенблюма, Ахад Гаама и стихами Бялика и узнает их мнение. "Ну, это песня далекого будущего", — сказал кто-то, и дело отложили. Пока лучше постараться сблизиться с молодежью в колониях и постараться убедить ее покончить с состоянием безделья и изменить свой образ жизни. Это выглядело более реальным. Я выдвинул мысль о рабочих столовых. Поскольку сельскохозяйственные рабочие мало зарабатывают и не могут позволить себе обедать в гостиницах, специально предназначенных для колонистов и состоятельных проезжих, получается так, что трудящиеся оказываются лишенными горячей пищи, а это истощает их, и вообще так нельзя жить постоянно. Закончил я изречением из наших мудрецов: "Уста ничего не могут без пищи". Здесь Туркенич нашел уместным покрасоваться и рассказать, что произошло

со мной, когда мы обедали вместе с учителем Адлером: "Побледнел и склонил набок голову, словно цыпленок, которому перерезали горло". Все смеялись.

Прошло уже два с половиной часа после полуночи. Тмима сидела в углу на раскладной кушетке и дремала, голова ее вздрагивала под тяжелой копной волос. Наше заседание подошло к концу. Но если каждый из нас пришел сюда своим путем, вышли мы отсюда сплоченной четверкой приверженцев одной идеи, несущей согласие и единство сердец. Переулки Неве-Цедика тонули в зловонии канав и сточных труб, с берега моря несло гниющими водорослями. Пустыми и заброшенными стояли прилавки торговцев, и тряпичные навесы над ними еще больше сгущали тьму. Они поскрипывали на северном ветру. Туркенич и Шифрис усталой походкой направились по домам. Шохат повернул к северу в сторону Петах-Тиквы, а я к югу, чтобы встретиться с рабочими винодельни, возвращающимися со своего праздника в Ришон.

Они ждали меня. Пары арака еще не выветрились из их голов, и остатки пляса как будто сохранились в их ногах. Меня они встретили шумными возгласами. Движение на дорогах начало оживляться. Можно было видеть арабов, подвозящих овощи к домам евреев. В кладовых феллахов слабо мигали огоньки фонарей. Время от времени из тьмы выплывала пара волов с плугом, а за ними шествовал с бичом в руке их хозяин, поднявшийся на рассвете и направляющийся работать на отдаленный участок поля. Один из моих попутчиков, выходец из Северной Африки, привязался ко мне. Он был самым бойким из всей компании и лучше других знал иврит. Крепкого сложения, лет около 30, одет он был наполовину как ашкенази и даже носил на голове шляпу с полями, только не отказался от этих особенных штанов со складками сзади. Длинноногий,

он каждым шагом покрывал несколько локтей расстояния, так что мне приходилось напрягаться, чтобы поспевать за ним. Он был довольно находчив и в разговоре заходил дальше других, как начинал своим хриплым голосом бубнить, так и не останавливался.

— Палестин не хорошо, — начал он.

— Почему не хорошо?

— Много жарко, малярия, скоро уйдем все. Вино нехорошее.

Я удивился тому, что он критикует напиток, хотя по его сиплому голосу можно было узнать, что он любитель крепко выпить и не зря пять лет имеет дело с винными бочками. Я спросил его:

— Не любишь вина?

Он задержал шаг, расхохотался и блеснул глазами в темноте:

— Вино это хорошо. Очень хорошо. Денег не есть. Барон не дает. Халас, — и развел обеими руками в воздухе.

— Кто тебе сказал про это?

— Хаваджа Гинзбург.

Этот Гинзбург был кассиром винного погреба. Марокканец считал его важным лицом, поскольку одна из двух красавиц, с которыми мне случилось сидеть вместе на одной скамье в дилижансе Файвеля во время моего первого приезда в Ришон, была близка с ним. Он-то и посеял смятение в мозгу марокканца; дела господина Япу начали приносить плоды.

— Есть у меня шекель, — добавил он, — заплатил один бишлик.

— Кому ты заплатил?

— Хавадже Гинзбург. С этим шекелем пойду в Африку. Там хорошо. Уйдем из Палестин.

И хотя речь его не прекращалась, пока не занялось утро, и мы не подошли к подступам деревни, в

содержании ее не произошло никаких изменений. Опять хаваджа Гинзбург, опять Африка и опять этот шекель, который обошелся ему в один бишлик. Только один раз он остановился, потянулся всем телом, и его темно-карие глаза загорелись диким огнем, а нижнюю челюсть он скривил и сдвинул влево, как делает корова во время жвачки:

— А какая мадам у Гинзбурга, ага!

И приложил свои скрюченные обезьяньи пальцы ко рту, воткнул их изо всех сил, затем вытащил их оттуда и расправил в воздухе, сделав губами причмокивание, похожее на поцелуй.

Когда мы начали подниматься по улице, ведущей к синагоге, гудок винодельни прогудел в третий раз, и мы поспешно распростились; немного времени спустя я уже стоял у калитки двора господина Дрюбина с мотыгой на плече, готовый отправиться в виноградник, копать свой ряд вместе с целой толпой других. Хотя я и ощущал усталость после бессонной ночи, все же делал свое дело бодро и уверенно. Работа, в основе которой лежит идея, не похожа на "просто работу". Теперь я чувствовал себя принадлежащим к отряду завоевателей, своего рода посланником от общества тех 4000 парней, которым предстоит прибыть и наполнить все села Иудеи и Галилеи новой жизнью. Я уже больше не одинокий, покинутый и беспомощный. Меня окружает густой лес лопат, сверкающих в солнечном сиянии. Что из того, что справа и слева от меня парни работают лучше меня? Вместе со мной копает теперь лопата Шохата на цитрусовой плантации Паскаля в Петах-Тикве, вместе со мной стучит молоток Шифриса на заводе Штейна в Яффе. Вместе с прерывистым дыханием из моих уст стали рваться звуки песни, темп которой совпадал с ритмичным хрустом мотыги, когда лезвие ее врывается в грунт и переворачивает пласты,

поросшие маргаритками, цветами горчицы и другими сорняками.

Бывают такие дни, богатые светом и сиянием и несущие с собой счастье и благословение. И вот плетусь я своей дорогой с закатом солнца, еле переставляя заплетающиеся ноги и свесив покрытые мозолями руки, переступаю порог моей комнаты, открываю дверь — и вижу перед собой Ицхака Квашню из моего родного городка. Семейство Квашней было почитаемо там. Отец был тем, что называли тогда "писарем", он состоял на службе у торговцев лесом; отвечал за распиловку бревен на доски и контролировал их длину и толщину. Высокого роста еврей, широкий в плечах, с плоским столярным карандашом за ухом, стоял он на штабелях бревен и подсчитывал их объем, записывая его прямо на сосновом стволе, из которого струился янтарный поток смолы. И сыновья его были как эти стволы. Стройные и рослые, они уверенно и гордо шагали по своей улице. Таков же был и Ицхак, представший теперь передо мной. Молодой паренек, ему еще не исполнилось восемнадцати; словно молодая сосенка с еще не развернувшейся во всей красе кроной. Лицо его было худощавым, карие глаза отливали бархатом, голова сидела на плечах изящно, как у горной серны. Откуда этот милый сердечный юноша взялся тут в моей комнате? Каким образом прибыл? Мне не писали, что он приезжает, так что он свалился, словно снег на голову. Он не был моим сверстником, мы никогда не учились с ним вместе у одного учителя. Моими товарищами были его старшие братья, и он, мальчонка, тянулся за ними, а я пощипывал его за щеку. Но расстояние уравнивает в возрасте, и комната моя наполнилась ароматом воспоминаний. Как будто бы жалость блеснула в бархате его глаз, когда он увидел меня в моей рабочей одежде, с тряпкой,

которой Тмима перевязала мои натертые пальцы и которая вновь успела побуреть и загрязниться.

Я сразу же побежал в лавочку и начал хлопотать насчет ужина. Купил бутылку вина, несколько баночек сардин, колбасы и устроил праздничный обед. Усадил Ицхака на ящик и разжег свою спиртовку, чайник мой закипел, а перечный куст своими весенними побегами занял все пространство окна. Я без конца спрашиваю, он отвечает и рассказывает. Как и я, он прибыл на дилижансе Файвеля и также вытаскивал его на себе из песка. В нашем родном городе многие уже сидят на узлах и с нетерпением ожидают подходящего момента. Он перечислил их по именам. Липа и Шломо, и даже Симха Айзик собирают имущество вместе со всеми своими близкими. Да, тот самый Симха Айзик, которого хасиды исключили из своей среды за его любовь к Сиону. И в час, когда мы оказались ввергнутыми в пучину неверия и скептицизма, он бросил нам канат и сказал: "Хватайтесь за этот канат и не выпускайте его". А его темная каморка позади магазина служила местом сборов нашего комитета, сидим мы, бывало, там и обсуждаем все свои дела, а он стоит у прилавка снаружи, закутанный в посконную поддевку и с шерстяным шарфом на шее, с покрасневшими от холода глазами, и продает продукты за гроши, и греет опухшие и посиневшие руки над миской шипящих углей. Но мне некогда долго раздумывать о Симхе Айзике. Ицхак горит желанием завтра же выйти на работу и не потратить ни одного дня на безделье, и его стремление мне понятно. Я расстался с ним и стал стучаться во все двери, пока на мои просьбы не откликнулся один из братьев Абрамович, которому нужно было сжать поле ячменя. "Если этот парень умеет держать в руках серп, пусть придет жать", — сказал он. "Что касается умения, — прихвастнул я, — то он лучший из жнецов. Своими

глазами увидите, господин Абрамович”. Однако во всем Ришоне нельзя было сыскать серпа. Говорили, что один валяется где-то на складе конторы. И вот я отправляюсь к заведующему складом и изливаюсь перед ним в красноречии, описывая важность дела. В конце концов он обещает, что будет ждать нас с серпом на пороге склада ко времени первого гудка. А я спешу обратно к себе, чтобы принести Ицхаку добрую весть.

Поскольку Ицхак выехал из города с разрешения и согласия своих родителей, он привез много постельных принадлежностей. Мы сложили вместе его и мою постель и устроили ложе на полу. От этих подушек из мягкого пуха так и пахло домом с его уютом и теплотой. Теперь сердца раскрылись для беседы, не прекращавшейся до тех пор, пока глаза у Ицхака не закрылись, и он не перестал отвечать на мои вопросы. Я же долго еще не мог уснуть. Сердце мое ликovalo. Нет, не дела Япу, а мои дела приносят плоды. Сердце мое полно гордости за этого юношу с его детской безмятежностью на лице: это я перетянул его сюда.

ВИНО ЛЬЕТСЯ ЧЕРЕЗ КРАЙ

В дни месяца Нисана мы, два земляка, совершали прогулки в соседние поселения Иудей, а на праздник Песах отправились в пешее путешествие в Иерусалим и восседали в отеле "Каменец" вместе с Элиягу Берлином из Царицына и Яковом Рабиновичем из Одессы, спустились к Западной стене и затем вместе со всеми обитателями отеля получили приглашение в дом Элизера Бен-Иегуды, а Иегошуа Барзилай выступил с речью в честь гостей и так разволновался, что слезы брызнули из его глаз. Однако, когда мы возвратились оттуда в Ришон, в виноградниках начался мертвый сезон, так что оба мы целую неделю только ели и не зарабатывали ничего. Сильно сократились остатки денег, скопившихся у меня, и наличных, которые привез с собой Ицхак. Мой земляк простился со мной и направился в знаменитую Петах-Тикву, где работа на цитрусовых плантациях не прекращается круглый год, а я уперся и остался на месте, хватаясь за всякие виды работ, добывая случайно два рабочих дня в неделю и перебиваясь в большой нужде. Вот уже середина месяца Ияра, а я все еще не внес господину Бен-Зезву квартирную плату. В те дни я был своего рода мальчишкой для всяких поручений. То отправляюсь в качестве курьера с письмом в комитет виноградарей в Гедеру, то помогаю человеку, переезжающему на другую квартиру, грузить на телегу его домашний скарб, и

даже несколько ночей сижу у постели больного и прислуживаю ему. Конечно, не от хорошей жизни человек берется за такие дела, так что настроение у меня очень подавленное. Однако пока я здесь, в Ришоне и его окрестностях имеется проводник идеи по овладению трудом. Пункты плана все больше и больше проясняются во время наших субботних встреч в комнате Тмимы, и не подобает "завоевателю" пугаться трудностей и бежать.

За пять месяцев непрерывного проживания я сделался в полном смысле слова гражданином этой маленькой скучной колонии, где все знают, что варится в кастрюле у другого, и даже мое бедственное положение не ускользает от внимания односельчан. Поскольку я сократил свои расходы на питание пропорционально моим доходам и питаюсь исключительно селедкой, хлебом и чаем, неудивительно, что мой лавочник это почувствовал, и моя нужда сделалась чудесной темой для болтовни в лавке, где с утра до вечера толкуются женщины. И когда он мне сказал однажды: "Бери у меня в кредит, сколько хочешь", я был уверен, что это не ему самому пришло в голову, а какая-то из его клиенток навела его на мысль проявить такое великодушие. Однажды вечером ко мне спустился господин Бен-Зев и с этой своей жокейской гибкостью во всем теле начал вертеть туда-сюда и разглагольствовать о разных пустяках. О Фатьме, на которую напала дурь, так что она решила вернуться в свое село; о лошади, которой гвоздь попал под кожу, когда ее подковывали; о бурном цветении винограда, предвещающем год богатого урожая и изобилия, ввиду чего опасаются, что винный погреб окажется мал, и уже начинают подготавливать его ко времени уборки. Никогда еще господин Бен-Зев не приходил ко мне в комнату, поэтому я вначале не мог понять,

что означает его многословие, хотя и угадывал во всем сказанном вступление к тому, что он еще скажет.

— Простите меня, что я вовремя не уплатил за комнату.

Он развел руками в воздухе и прямо-таки подскокил на месте, словно его ужалил скорпион: ай-ай-ай, до чего же я плохо о нем думаю, если подозреваю в том, что он утруждает себя из-за этих шести франков. Но тут же он снова уселся на ящики и наконец-то приступил к сути дела:

— Собственно говоря, пришел я сюда по поручению Дрюбина и Осташинского.

— По поручению? — удивился я.

— Они просили меня похлопотать за тебя перед Япу и Гинзбургом.

— Похлопотать? — вновь поразился я.

— Да, замолвить слово, чтобы дали тебе работу в винодельне. Разве можем мы равнодушно смотреть, как ты мыкаешься?

— Да нет, господин Бен-Зев, я не мыкаюсь, я не...

— Не рассказывай, — остановил он меня, — лавочник сказал госпоже Дрюбин, что уже несколько недель ты не покупаешь у него ничего, кроме селедки.

Правду сказал этот лавочник, но какое дело ему, госпоже Дрюбин и господину Бен-Зеву до моего питания? Однако нельзя же набрасываться на человека, вторгающегося в твою жизнь из хороших побуждений. Я растерялся и не знал, что ответить.

— И вот мои хлопоты увенчались успехом... Сначала они колебались... из-за тех скандалов в Народном доме. Но все закончилось наилучшим образом, и после праздника Шавуот ты пойдешь туда с первым гудком. Распорядитель уже получил указание принять тебя. Получать будешь по два франка в день, не считая сверхурочных.

Бен-Зезв даже не стал ждать моего согласия. Он был уверен, что человек, уже несколько недель подряд питающийся селедкой, обязательно согласится на все, что ему предлагают. После того как я пробормотал несколько слов благодарности, он собрался уходить, но вспомнил еще кое-что:

– Да, совсем забыл... Были тут у меня из Петах-Тиквы и сняли залу, что возле твоей комнаты, для рабочих, которые приедут на исходе праздника и тоже будут работать в винодельне. Ты ведь ничего не имеешь против? Будет немножко веселее во дворе.

Бен-Зезв не ошибся: я был рад подвернувшейся работе. В журнале "Гашилоах" я читал статью некоего З. С. об экономике сельского хозяйства, где автор подробно останавливается на связи между полевыми работами с их сезонностью и частыми перерывами и сельскохозяйственными ремеслами – виноделием, ткачеством и т. п., заполняющими эти перерывы. Из его слов следует, что мой переход на работу в винодельню оправдан. Япу и Гинзбург колеблются – ну и пусть их. Мы не выпрашиваем работу – мы захватываем ее.

Я отправился в лавку, купил в кредит колбасы, вина и орехов и пиршествовал в одиночестве, в четырех стенах моей комнаты, после того как много дней подряд морил свой желудок.

Наутро после праздника Шавуот я поднялся рано и приготовился к выходу на новое место работы, которое, хотя и расположено было в самой колонии, но где для простых рабочих установили строгие правила и не отпускали их домой обедать. Когда я вышел во двор, чтобы обмыться до пояса холодной водой из-под крана, то увидел, что на полу залы уже валялись шестеро растрепанных парней. Они спали одетыми, подложив под головы свои узлы, а их разгоряченные

лица были обращены к потолку и улыбались в сладостной дремоте последнего предутреннего сна. По-видимому, они еще ночью прибыли пешком из Петах-Тиквы, а я ничего не слышал. Еврей, лет пятидесяти, стоял закутанный в талес у окна и совершал утреннюю молитву. Цвет его лица был зеленее, чем отделка его талеса, щеки глубоко ввалились, образуя две впадины по сторонам его тонкого длинного носа, подчеркивая худобу челюстей, которые были не чем иным, как пленками пергаментной кожи, натянутыми на острия костей. Но в его голубых глазах, очень быстрых и наблюдательных, сверкали искорки дружелюбия, даже немного бунтарства и озорства, и это не давало длиться чувству жалости, которое невольно возникало при виде его тщедушия и хрупкости. Я первым приветствовал его и занялся своими делами, забыв о нем.

В винном погребе меня встретил тот самый марокканец, который пристал ко мне в ту ночь, когда я возвращался из Яффы после первого заседания в комнате Тмимы, тот самый, который купил угандийский шекель и теперь спит и грезит о переезде в Африку. Теперь его распирало от важности, и он похвалился мне, что назначен надзирать за рабочими-новичками, которые прибывают сюда из всех городов страны на сезон уборки винограда, и что я тоже подчинен ему. Он тут же увел меня в подвал, за перегородку, приказал мне снять с себя всю свою одежду, сложить ее в одну из ячеек на настенных полках и запомнить номер ячейки, затем влезть в длинный жесткий мешок с распоротым отверстием сверху наподобие шейного проема и двумя такими же отверстиями сбоку для рук. На мешке стоял тот же номер, что и на моей ячейке для одежды. Я выполнил его указание и сразу же вышел оттуда босой, с непокрытой головой и в этом странном одеянии,

царапавшем голую кожу, словно тростниковая циновка, вид у меня был как у преступника, приговоренного к заключению и каторжным работам.

Марокканец с величайшей важностью повел меня по узкому длинному коридору с запылившейся стеклянной крышей, через которую сверху просачивался скудный свет и терялся в глубине помещения. Вдоль всего коридора один за другим располагались высокие серые липкие резервуары, на стенках которых проступали капли красной жидкости. На полу лежали изогнутые асбестовые трубы, словно зеленые змеи, из пастей которых, переливаясь через край, текли в канавки струи воды. Мой начальник снабдил меня щеткой из щетины с рукояткой длиной в несколько локтей, тряпками и шестами, велел подняться по маленькой металлической лесенке, что позади резервуара, и спуститься в него, просунул свою уродливую физиономию в круглое оконце сверху под крышей и стал давать оттуда поучения: как соскабливать налет со стенок, как затем споласкивать водой, чтобы и следа красноты не осталось и стенки стали светлыми и чистыми. Когда он исчез из оконца и на дне резервуара зажелтело пятно света, когда стихло эхо его приказов, отражавшихся от стены к стене, я ощутил себя заключенным внутри барабана, по которому ударяет множество рук. В этом полутемном пространстве стоял теплый кислой дух, отдававший сладким и острым, смесью дрожжей, спирта, сырости и закваски теста, и с каждым моим вдохом все это из легких поднимается вверх и ударяет в голову. Прошло какое-то время, пока я привык к этому воздуху и начал своими инструментами скрести стенки резервуара.

Вскоре кривая физиономия марокканца вновь заслонила верхнее оконце, и он вновь стал бросать вовнутрь приказы, словно камни о стены, а затем

сверху посыпались тряпки и шесты, и сразу же за ними в пространстве резервуара затрепыхались две голых высохших ноги, без признака мяса на них; заметались, ища опоры в воздухе, словно ноги тонущего в море, тщетно ищущие исчезнувшее песчаное дно. Я раскидываю руки, поднимаю их кверху, подхватываю человека, одетого в такой же мешок, как и я, ставлю его на дно резервуара, и два голубых, быстрых и зорких глаза смеются, глядя на меня. Это были глаза того еврея, которого я видел утром совершающим утреннюю молитву и закутанным в талес в зале рядом с моей комнатой; и было в них то же самое бунтарство и озорство человека, отвергающего всякую жалость.

— Мое имя Гордон, — прошептал он прерывающимся голосом и протянул мне руку. Я пожал эту слабую, костлявую руку, покрытую множеством мозолей, и сказал:

— Отдохните немного, привыкайте к воздуху.

Мы немного посидели на теплом и липком полу резервуара, затем встали и распределили между собой работу: я скоблю, обскребаю и оттираю, а он после меня споласкивает из трубы. Мешки, вначале желтевшие на нас, почернели, пропитавшись водой, стали мягче, меньше кололи и приятно охладили кожу, а легкие порывы головокружения от всех запахов даже как будто обостряли ощущения. Глаза, привыкнув к темноте, стали различать все: каждое зеленоватое пятнышко, каждую светлую плешину плесени, малейшее загрязнение в щелях. Золотистые волосы Гордона потеряли свой блеск, повлажнели и прилипли к его худому, сморщенному затылку, открылся его высокий, очень крутой лоб и заметнее стала бледность лица. Вдруг он положил свою руку на мою, заставив меня прервать работу, и насмешливо сказал:

— Послушай-ка, барчук, ты думаешь вот так скрести весь день? А я, как первосвященник в Храме в Судный день, буду только поливать? Доля против доли, барчук, поровну.

— Берите, если хотите, — протянул я ему мою щетку.

— У меня есть своя, — ответил он.

Взял свою щетку и начал скрести рядом со мной.

— И давно ты здесь? — спросил он меня.

— Месяцев пять.

— А откуда ты?

— Из российской части Польши.

— И чем же ты там занимался?

— Учился в Бейт-Хамидраше (религиозном училище).

— Как дается тебе работа, тяжело?

— Сначала было тяжело, теперь уже нет.

— Закурить хочешь, но не решаешься.

Я поднял на него удивленные глаза:

— С чего это вы взяли?

Вновь блеснул огонек озорства в его глазах:

— Всевышний нас не обделил, барчук. Вижу, ты все время шарить в кармане. Кури!

Я вытер тряпкой руки, свернул папироску и закурил. Я уже знал теперь, что нахожусь в обществе человека незаурядного.

Когда раздался гудок трубы, мы вылезли из резервуара. С наших мешков капала вода, свежий воздух охладил тела и бросил их в дрожь, а солнечный свет резал глаза. Марокканец носился и суестился, как командир, собирая своих новобранцев на обед в помещение, где были расставлены столы и скамейки.

Шестеро товарищей Гордона, пришедшие вместе с ним в ночной темноте из Петах-Тиквы, были из числа так называемых "японцев" — иными словами, парни из

России, бежавшие из страны, когда их призвали в армию и хотели отправить воевать в Манчжурию. Вовсе не желая слишком удаляться от родных берегов и питая надежду вернуться домой и к прежним занятиям, когда гроза пронесется, они направились в Одессу, получили от комитета "Ховевей Цион" билеты за полцены и отплыли в Яффу, а затем избрали Петах-Тикву прибежищем на переходный чрезвычайный период. Временный характер пребывания заставил их сразу же примкнуть к колонистам-земледелцам в их претензиях и недовольстве страной, и "Завоеватели труда" заняли враждебную позицию по отношению к ним. Но в этой компании, сидевшей в тот день в столовой винодельни в одних и тех же влажных мешках на телах, нельзя было заметить расхождений во взглядах и мнениях. Этот старикан Гордон был вроде бы их вожаком, все обращались к нему и все заботились о нем, делясь кто своим куском хлеба, кто луковицей. Это были веселые парни с Юга, из Подолии, Бессарабии и других богатых виноградниками краев России. Когда надсмотрщик поставил на стол кувшины с вином, они изрядно приложились к своим стопкам, разгорячились и начали распевать русские революционные песни. Гордон не отставал и присоединил свой голос к их хору, даже я стал подтягивать.

В то время как мы еще сидели за столами, обедали и распевали песни, вновь вошел надсмотрщик, ведя за собой худощавого и словно очень испуганного чем-то молодого человека, лет двадцати двух с виду; он был высок, держался очень прямо и напряженно, усы имел густые и вьющиеся и продолговатую голову, которую часто легким движением откидывал влево, словно прогонял с лица назойливую муху. Лицо его исчезало в обрамлении темных кудрей, а на пальце было золотое обручальное кольцо. На нем был прекрасный рабочий

комбинезон, синий, выглаженный и пошитый по размеру, словно у мастеровых в Германии. Судя по предупредительности, с которой обращался к нему марокканец, он не своей волей пришел в винодельню, а кто-то влиятельный хлопотал за него и замолвил доброе словцо. Его не всунули в мешок, а оставили в его синей одежде. Его не спустили в серые скользкие резервуары, а вооружили трубками и измерительными инструментами из тонкого стекла и посадили на бочки в подвале, где он всасывал вино в трубки, измерял количество и записывал. Теперь, сидя в толпе "мешочников", он достал из сумки аккуратно уложенные бутерброды и даже расстелил под ними небольшую белую салфетку и осторожно, аккуратно, кончиками пальцев, словно брезгуя, приступил к трапезе. Природе человеческой свойственна неприязнь к "белым воронам", поэтому "японцы" тут же стали слегка приставать к новичку. Один крымчак, балагур и насмешник, с лицом чернявым, словно выпачканным сажой, будто он только что вылез из топки, бросил ему по-русски:

— А ты кто будешь?

Новоприбывший сделал вид, будто не понимает языка, на котором к нему обратились, тряхнул своими кудрями и ответил:

— Я говорю только на иврите.

Однако тот не унимался.

— На иврите, так на иврите — как тебя зовут?

— Меир.

— Меир, а дальше?

— Меир Вилканский.

— Ага, вот как! Что ж, теперь будем знать.

И вся компания грохнула дружным хохотом. Что бы крымчак ни говорил или делал, в ответ неизменно раздавались взрывы смеха его товарищей. Однако тем временем воздух прорезал гудок, и все мы разошлись,

каждый на свое рабочее место, оставив Меира Вилканского в покое.

Вечером в зале по соседству с моей комнатой было оживленно и шумно. Фатьма принесла большой медный лист, парни установили его на трех камнях; она помогла им развести под ним костер из сучьев, и они стали жарить яичницу из десятков яиц. Возникла трудность с кипятком, емкости моего чайника не хватало для семи человек. Тот весельчак из Крыма отправился наверх к Бен-Зезву, пробыл там недолго и вернулся вместе с ним; они пошли в склад во дворе и разыскали там старый-престарый пузатый самовар. Вскоре я увидел, как крымчак изо всех сил дует в отверстие, и из-под самовара полетели искры. А в зале на полу один возле другого валялись парни, лицами и коленями согнутых ног к потолку, и потихоньку потягивали грустные напевы о матушке-Руси и многоводных ее реках.

Раздался стук в мою дверь. Вошел Гордон и сел на один из ящиков. В слабом свете моей коптилки я разглядел, что озорное бунтарство в голубизне его глаз не угасло.

— Ну, барчук, чем занимаешься?

Тон его слов задел меня. Почему он насмехается? Я решил отплатить ему той же монетой:

— О вас думаю.

— Обо мне?

— Хочу предложить вам спать этой ночью в моей комнате, а я пойду ночевать с парнями.

— Чудесная мысль! — воскликнул он с той же издевкой в голосе. Но затем подвинул ящик поближе, заглянул мне в глаза и уже совсем серьезно спросил:

— Скажи, ты оставил бы их, если бы пришел с ними вместе? Ответь просто: да или нет?

Невольно я ответил:

— Нет.

— Почему?

— Не знаю, как это объяснить, но я бы не отделился от них.

— Зачем же ты подбиваешь меня поступить так, как сам считаешь недостойным?

Я не нашелся с ответом. На языке вертелись слова о разнице между нами в возрасте, но что-то словно запечатало уста, и я не произнес ни звука.

— Но ты можешь оказать мне другую услугу, — добавил он. — Я, конечно, не могу сравниться с тобой возрастом и крепостью сна. Если дашь мне свою лампу, когда ляжешь спать, я смогу немного почитать лежа.

Я взял лампу обеими руками, протянул ему и сказал:

— Берите! У меня есть другая.

По глазам видно было: он понял, что я солгал ему. Но на сей раз он уступил и принял от меня лампу. Поднялся, развевая лапами пиджака, висевшего на его худой фигуре, ущипнул меня за щеку, как старый дяденька малолетнего племянника.

— Ну, барчук, за то, что возносишься, вот тебе наказание: весь вечер будешь сидеть в темноте, — и вышел.

Всю ночь много света было в моей комнате, хотя я и не зажигал свечи. Несмотря на разделявшую стену, я чувствовал, что нахожусь под одной крышей с человеком незаурядным.

Глава XVI

ПОД ЗНАКОМ ПЛАНЕТЫ МАРС

Когда лиловыми стали грозди на лозах, целые ватаги сборщиков устремились в виноградники с плетеными корзинами, и эти корзины, наполненные виноградом, стали прибывать на высоких возах на задний двор винодельни. Ягоды потоком увлекались и вытягивались между клыками жерновов, крошивших и давивших их; насосы тарахтели и качали днем и ночью; асбестовые трубы набухли, округлились и стали извиваться по земле, как хвосты зверей, а в резервуарах уже начала бродить и пениться смесь из сока и кожицы винограда. И тут не помогли никакие ухищрения Меиру Вилканскому, он был вынужден расстаться со своей отутюженной синей спецодеждой, перестал смахивать на немца-механика и больше не расстилал белую салфетку под своими съестными припасами в столовой; облачился в такой же мешок на голое тело, как и мы все; его тонкие волосатые ноги стали как босые ноги Асмодея, а рыжевато-русская шевелюра прилипла к затылку, и с нее капала мутная вода. Теперь мы работали в две смены, по двенадцать часов подряд каждая: неделю с полудня до полуночи и неделю с полуночи до полудня. Так сложилось, что мы трое: старик Гордон, Вилканский и я попали в одну смену, сдружились и помогали друг другу.

И вот в субботу перед началом месяца Ава во время предвечерней молитвы "минха" мы приглашены были

к одному из рабочих винодельни на Бар-Мицву. За накрытым столом сидели ветераны: надсмотрщики и распорядители, постоянно работающие в винодельне, меньшинство — ашкеназийцы, а большей частью — сефарды, курды и марокканцы в цветистых халатах и красных тюрбанах. Среди приглашенных был и цвет административного чиновничества в шляпах, галстуках под воротниками и блестящих чесучовых пиджаках. И поскольку напитков было в изобилии, а вино отборным, были даже запыленные бутылки из прославленного маленького погребка, бочонки из которого отправляются в Париж и поставляются на стол барона, веселье за столом разгорелось вовсю.

Был канун Седьмого конгресса, место и время его созыва были уже назначены, и злободневной темой разговоров были разногласия между "угандистами" и сионистами, разрешить которые призван был Конгресс. Во главе стола сидел господин Резник, секретарь Рабочего союза, подчиненного Одесскому комитету "Ховевей Цион", образованный русский еврей, почтенный и приятный в обществе. Он был холостяк далеко не первой молодости, лыс, отчего лоб его казался шире, чем был на самом деле, а в центре лица красовался длинный мясистый нос, затмевавший все остальное. О нем говорили, что в стране своего рождения он был связан с бунтовщиками, врагами престола, сидел целый год под арестом и еще по сей день получает от левых журналы и брошюры. Рабочие, секретарем союза которых он являлся, были всего лишь уцелевшими остатками подъема 1890 года, оказавшегося недолговечным и сменившегося упадком, не дойдя до вершины как из-за внутренних раздоров и неурядиц, так и из-за ударов извне. И вот красный листок, выдаваемый в Яффском порту и предоставляющий еврею, прибывающему из России или Австрии,

право на въезд всего на три месяца, и то лишь в качестве паломника. Эти рабочие были надсмотрщиками над арабами и владельцами небольших земельных участков; они нередко обращались в ссудную кассу "Ховевей Цион" за помощью в несколько сотен франков, так что главным занятием их секретаря были эти унижительные, с жалкими результатами переговоры о претензиях и требованиях людей, вечно считавших себя обойденными и обманутыми. Это занятие было весьма не по душе Резнику, прекрасно понимавшему его стыд и позор. Свою горечь, злость и протест он перенес на все дело сионизма, подпал под влияние "угандистов" и стал их ярким сторонником.

— Ришон-Лецион, — услышал я его слова, — показал, на что способен: продал 70 шекелей территориялистов.

— Ришон-Лецион не следует приводить в пример, — вмешался я. — Здесь винодельня, и запрет Ислама пить вино — преграда арабскому труду, на ней; здесь и казначей, и высокопоставленные чиновники, продающие шекели марокканцам, и, как известно...

— На что ты намекаешь?

— Я не намекаю ни на что, — сказал я и обратился к своему надсмотрщику, марокканцу Хаиму:

— Скажи, у кого ты купил шекель для "Блад Африки"?

Тот проникся сознанием своей важности, вскинул подбородок и рот, искривив их влево, как лошадь, которую взнуздывают, и ответил:

— У хаваджи Гинзбурга, клянусь Аллахом.

Хозяин праздника увидел, что назревают осложнения, и поспешил перевести разговор на другую тему. Вскоре весь спор оказался забыт, и участники трапезы вновь обратились к вину и яствам, ублажавшим желудок.

В ту неделю у меня начиналась вторая смена, и около полуночи на исходе субботы я поднялся со своего ложа, разбудил Гордона, спавшего в моей комнате: оба мы приготовили себе еду, сложили ее в сумки и вышли в ночную темноту, направляясь на работу. Залы винодельни в это время суток были похожи на железнодорожную станцию в странах Севера после полуночи, когда ушли все паровозы и вагоны, и фонари мигают среди снежной вьюги. Мигают слабые огоньки красновато-желтых электрических лампочек на стенах, и отбрасываемые ими пляшущие круги розоватого сияния делают мрак впереди и позади еще гуще. Бродят тени людей, шатающихся от усталости, они выходят короткими шажками, и ты слышишь, как шлепают босые ноги по скользкому влажному полу. Издали слышен ритмичный стук машин и насосов, а трубы вдоль канавок движутся словно сами собой, и их изгибы напрягаются и округляются, подобно кольцам змеи, греющейся в песке под зноем полуденного солнца.

Работа не требовала больших физических усилий. Сидишь себе в своем углу и прислушиваешься к журчанию струй, стекающих в резервуары по трубам, следишь, чтобы жидкость не переливалась через край, когда резервуар наполнится; или взбираешься наверх, когда обрывается струя из какой-нибудь трубы, и вытаскиваешь виноградные косточки, образовавшие в ней затор. Но это непрерывное многочасовое сидение в намокшем мешке на полу, холодящем ступни ног, и это слушание монотонного журчания струй молодого вина, льющихся сверху, нагоняло сон. Да еще пары спирта, наполняющие нос и рот, так что вся работа превращалась в тяжелую изнурительную войну между тобой и той силой, которая смыкает веки твоих глаз.

Я взобрался к своему резервуару и, увидев, что он не наполнился еще даже наполовину, пошел в конец коридора, где сидел Гордон над своим резервуаром, чтобы немного разогнать сон. Когда сидишь согнувшись и не двигаясь с места продолжительное время, тепло, испускаемое телом, скапливается и берет верх над холодом влажного мешка, надетого прямо на голое тело; но когда тащишься по ночному воздуху, мешок делается ледяным и кожу начинает колоть словно иголками. Пока я добрался до места, где сидел Гордон, руки и ноги у меня затряслись и зубы стали стучать друг о друга. Гордон лежал в своем углу, тощее его тело было как шест в мешке; он поднял на меня свои голубые глаза, излучающие жалость, и с отцовской заботой прошептал:

– Да ты весь дрожишь...

С беспечностью молодости я громко расхохотался и ответил, словно в шутку бросая ему вызов, ибо Гордон был как будто одним из нас и обладал умением заставлять тебя забывать о разнице в годах:

– И я тоже не хочу, чтобы меня жалели.

Он уловил мою колкость, схватил меня, притянул к себе на пол и прошептал мне на ухо:

– Да не жалею я тебя, барчук, ты мне нравишься...

Я изумился силе этой костлявой руки, обхватившей меня. Освободившись, я пошел к Вилканскому, привел его, мы достали свои продукты из сумок, добыли кувшинчик вина, разогрели себе нутро его содержимым, поели, наговорились вдоволь и в хорошем расположении духа вернулись к своим резервуарам, ожидая первого утреннего гудка.

Около восьми утра мимо меня прошел Меир Вилканский, притопывая своими босыми волосатыми ногами; гордой походкой шествовал он в своем жалком мешке и с рыжеватыми кудрями на голове. Я припод-

нял конец одной из труб и пустил ему в лицо струйку воды. Он не рассердился, а схватил другую трубу и воздал мне той же монетой. Я знал, что он большой упрямец, и сказал себе: теперь увижу, докуда доходит его упрямство. Прошла секунда, за ней вторая, третья, четвертая -- а он все стоял со смеющимися карими глазами и концом трубы в руке, а струя ледяной воды резала мне кожу. Наверно, он стоял бы так и окатывал меня, пока не раздался бы гудок окончания ночной смены, если бы не вошел марокканец-надсмотрщик и не прервал это его занятие:

– Хаваджи просят тебя прийти.

Я не сразу понял из его смеси иврита с арабским, что он хочет сказать.

– Кто просит?

– В конторе, хаваджа Гинзбург. Мне сказали привести тебя.

Он велел Меиру заменить меня, и я пошел вслед за ним в контору. Здесь стояли в ряд три письменных стола, отделенные от посетителей перегородкой из орехового дерева. За перегородкой за первым столом сидел кассир господин Гинзбург, молодой человек, одетый в светлый, тщательно отутюженный костюм, с красным галстуком, повязанным вокруг шеи. Он был маленького роста и сидел на высоком стуле, стараясь ногами дотянуться до пола. Щеки у него круглые и лоснящиеся, карие маслянистые глаза выражают большое смятение. Рядом с ним за вторым столом господин Япу, с лицом мертвеца, бледным высоким лбом и глазами, наполовину упрятыми под веки и оттуда изучающими меня. Третьим в ряду был директор, специалист по винам, говоривший только по-французски, с многочисленными складками под выбритым подбородком. Был он мясистый, тучный, а его бегающие по сторонам носа глаза, серые, словно острия игл,

не выражали ни злобы, ни ума: просто что-то такое, что смотрит и ничего не имеет в виду.

Я стоял перед перегородкой с непокрытой головой, босой, с моего мешка текла вода, которой облил меня Вилканский, и недоумевал, зачем меня вызвали сюда.

– Вас зовут Цемах? – спросил меня Гинзбург.

– Да, это мое имя.

Он шевельнулся на стуле, крепче уперся короткими ножками в пол и спросил:

– Это вы сказали, что я приписываю рабочим винодельни по четверти смены и по полсмены в наряды, если они покупают у меня угандийские шекели?

Он говорил со мной на иврите, на красивом иврите, но я сразу ощутил, что нахожусь в осином гнезде, и водопад вражды обрушивается на меня, что планета войны – Марс – стоит над моей головой. Сердце чуяло, что я легко не отделаюсь. Все же я ответил с достоинством:

– Вовсе не так я сказал.

– Но что-то похожее на это?

– Даже не похожее. Вот каковы были мои слова: расчеты в винодельне сложны, в них трудно разобраться, иной раз работы на два часа, а записать ее можно и как полсмены, и как два часа: рабочие винодельни, марокканцы и иракцы, не очень-то большие знатоки счетного дела, и когда казначей предлагает им купить шекель за один бишлик, они не решаются отказать и покупают. И я действительно считаю, господин Гинзбург, что это непорядочно с вашей стороны, когда вы продаете шекель, например, марокканцу Хаиму, моему надсмотрщику: если здесь и нет принуждения, то какое-то подобие давления все же налицо.

Он дал мне договорить до конца: но заметно было, как с каждым словом, которое я произносил, лицо его

все более желтеет и лютая злоба разгорается в нем. Япу еще больше подзуживал его, цедя сквозь зубы: "Какая наглость, какая наглость!"

— У нас есть свидетели, слышавшие, как вы сказали вчера в доме нашего распорядителя, что я приписываю по четверти смены в наряды рабочих, покупающих у меня шекели.

— Порядочный человек, искренний в речах, не принимает на веру сплетни.

Мешок леденил мое тело, и я напрягал все свои силы, стараясь преодолеть холод и не дрожать. Япу сказал что-то по-французски. Я не понял слов, но знал, что они не сулят мне добра. И в этот момент я увидел, как Гинзбург приподнимается за своим письменным столом, нагибается верхней половиной тела вперед, к перегородке, поднимает руку, ударяет меня по щеке и тут же отшатывается назад, к окну, что позади него.

Я уже не был больше тем худощавым "зеленым" учеником религиозной школы, который одиноким и всеми покинутым ступил на берег Яффы. Шесть месяцев работы садовыми ножницами, лопатой и другими инструментами расширили мои плечи и налили мои руки большой силой. Я ощущал эту силу во всем своем теле, от кончиков пальцев до корней волос, и вся кровь вскипела во мне. Никогда еще человек не поднимал на меня руку. Даже отец не бил меня. Я был единственным сыном из хорошей семьи, и даже мои учителя не осмеливались стегать меня ремнем. Рванувшись к перегородке, я проломил ее, словно яичную скорлупу, вошел в пролом и замахнулся кулаком, собираясь ударить по лицу этого маленького человечка, который прижался к стене, словно пытаюсь слиться с ней, и прикрыл лицо ладонями. Я успел еще увидеть, как Япу вскочил со своего места, схватил стул и поднял его в воздух. Кажется, даже директор

сделал то же самое. Я застрял между столом и обломками перегородки и не мог увернуться и отступить назад. Что было дальше, не знаю. Знаю только, что я отбивался кулаками и ногами и что множество людей наносило мне удары. Среди них я различил даже Хаима-марокканца и удивился этому.

Как все это кончилось и как я вышел оттуда, стерлось у меня из памяти. Вижу себя вновь сидящим у моего резервуара жалким, потерянным и избитым; ведь за каждый нанесенный мной удар я получил обратно пять. Нижняя губа у меня рассечена, и кровь, текущая из нее, окрашивает в красный цвет мешок, надетый на мне. Тот парень из Крыма тряпочкой вытирает мне кровь с лица, Гордон и Вилканский наклоняются надо мной. Вокруг меня бурлящей толпой собрались все рабочие винодельни. Взволнованный Резник восклицает:

— Приостановим работу и затопим этот проклятый погреб!

Услышав этот возглас, я несколько пришел в себя и возразил:

— Я не хочу, чтобы затопили винодельню, я не проклинаяю ее.

Поспешили позвать директора. Он пришел, дрожа всеми складками под подбородком. Рабочие притихли и расступились, давая ему дорогу. Он подошел ко мне и сказал:

— Сожалею о том, что произошло, но это был всего лишь конфликт между вами и господином Гинзбургом, который мы еще будем разбирать. Я хотел бы, чтобы вы продолжали работать у нас, дирекция ничего против вас не имеет.

Он говорил по-французски, и кто-то переводил мне его слова. Хотя мне и казалось, что во время драки я

видел и его размахивающим стулом, все же я ответил ему:

— Я смотрю на это дело так же.

— Можете идти сегодня домой и отдыхать. За наш счет.

И удалился. Вызвал к себе в контору распорядителя и велел ему постараться умерить гнев рабочих.

Нам давно было известно, что Эмиль Меирсон и барон недовольны действиями своих чиновников в Ришоне, размахом их политического делячества. Директор опасался, что отзвук этого происшествия дойдет до них, сбавил тон и занял примиренческую позицию. Как бы там ни было, возы с виноградом утренней срезки уже прибыли во двор, жернова уже мнут и крошат грозди, и сок течет по трубам в резервуары, так что перед тобой всего-навсего две возможности: либо затопить винные погреба виноградным соком, как предлагает Резник, либо вернуться на свое место в смене и следить, чтобы все шло заведенным порядком. Рабочие разошлись делать свою работу, и даже я возвращаюсь в свой угол и приступаю к делу: сижу и слушаю журчание струи из трубы, очищаю ее от пробки из косточек и шелухи и направляю струю в другой резервуар, опорожнившийся за ночь.

Не может быть ничего хуже, чем оказаться вдруг человеком, на которого обращено всеобщее внимание. Охваченный стыдом, я не в силах был выносить взгляды, которые устремляли на меня прохожие. Во всяком проявлении жалости есть что-то обидное и унижающее. Истинное братство означает чувство "лучше бы я был на его месте". На лицах же смотревших на меня можно было видеть, до чего далеки их сердца от такого желания, и нет среди них ни одного, кто хотел бы поменяться со мной местами. Однако я в глубине души решил, что пробуду здесь до полудня и закончу

свой рабочий день, а после этого в моем распоряжении будет двенадцать часов времени для взвешивания, обдумывания и принятия решения.

В то время как я размышляю об этом, навстречу мне по коридору плетется Хаим-марокканец. По-видимому, он вышел из маленького погребка, где отведал вина из всех бочек. Походка у него нетвердая, колени подгибаются, как бывает с человеком, одурманенным вином. Та конвульсия, которая обычно подергивает его подбородок, искривляя рот влево, застыла на его физиономии, а слезящиеся глазки прячутся, опущены вниз и уперлись в пол. По соседству со мной работал крымчак, и я сказал ему по-русски:

— Губу мне рассек кулак вот этого, который идет сюда.

— Вот как? Сейчас мы с ним расквитаемся.

Не этого мне хотелось. Я намеревался сказать обидчику пару слов и тем покончить счета с ним. Разве имеет смысл набрасываться на этого пьяного безобразника, который сам не ведает, что творит? Я подскочил первым и встал между Хаимом и крымчаком, чтобы заслонить марокканца от удара. При этом я спросил у него:

— Скажи, Хаим, я когда-нибудь причинял тебе зло?

Тот, не поднимая глаз и продолжая сверлить ими пол, пробормотал:

— Нет, клянусь Аллахом, нет.

— За что же ты бил меня?

— За что?.. Именем Аллаха... Они все били... Ашке-наз били... Господа... Хаваджи... А я, я-то причем?..

Крымчак был проворнее меня и выше ростом, он сумел-таки через мое плечо дотянуться и огреть его кулаком. Хаим отшатнулся назад, закатил глаза, качнулся, поскользнулся на липком полу и упал. И опять пошла большая суматоха. Немедленно распространил-

ся слух, что ашкеназийцы бьют сефардов. Последние столпились вокруг меня и начинают угрожать мне. Все же я сумел заставить их выслушать меня и умерил их пыл. "Если он первым начал, и ты дал ему сдачи, то это дело другое", — сказал один из них, наклонился к Хаиму, уловил запах винного перегара, которым несло от него, и воскликнул: "Да он пьян! Из малого погребка пожаловал!" Все рассмеялись, подняли его и уволокли за собой.

Тем временем подошел полдень. В двенадцать часов звук гудка пронзил все залы винодельни, раскололся и расплылся по всем закоулкам и коридорам, и гулкие отзвуки эха, как удары крупинок града, ударили по жестяным перегородкам. Первая смена закончила свою работу и выходит, вторая входит. Мой сменщик получил от меня необходимые указания, но на вопросы, которые он обрушил на меня, я отвечать не стал. Пошел в умывальную, окатился холодной водой, чтобы смыть грязь с тела, достал из ячейки в гардеробной свою одежду, оделся и вышел наружу. Солнце месяца Тамуза стояло высоко в небе и ослепило меня обилием своего сияния, тепло его приятно телу, всю ночь находившемуся в воде, холоде и темноте. Я увидел Гордона и Вилканского, которые торопливо шагали в сторону конторы: они о чем-то перешептывались и увильнули от меня. Вся колония была похожа на кипящий котел. Несколько человек остановили меня по дороге и пытались засыпать вопросами, я отмахиваюсь, отделяюсь несколькими словами и мчусь дальше. На пороге моего дома стоит Фатьма, подавшись мне навстречу своей тяжелой, колышущейся грудью, а в ее больших темно-карих глазах — целая бездна симпатии, сочувствия и страха:

— Йа, хаваджа, — всплеснула она руками, — что тебе сделали?

– Ничего, Фатьма, ничего, тоша (беспорядки).

– Акрит (подлецы)! – скрипит она зубами.

– Акрит, Фатьма, акрит, – соглашаюсь я, и ее сочувствие и гнев проникают мне до самой глубины души. Я слегка погладил кончиками пальцев ее смуглое открытое плечо, отчего дрогнули и звякнули монеты на цепочке у нее на шее, и скрылся в свою комнату. На столе у меня зеленел букет, цветы жасмина пятнами белели в нем и заполняли комнату густым опьяняющим ароматом. Я подошел к зеркалу и стал рассматривать свое лицо. Нижняя губа вздулась и уродовала меня. "Акрит, Фатьма, акрит!" – прошептал я разбитыми губами и взобрался на свою постель, оглушенный, потрясенный и усталый. Теперь мне следует обдумать свое положение.

Глава XVII

В ИЗГНАНИИ

Хотя я вернулся с ночной смены, все же не мог сомкнуть глаз весь день и после долгих размышлений и доводов за и против счел, что для меня конфликт раз и навсегда исчерпан. Наряду с этим я решил остаться работать на винодельне до конца периода уборки винограда и не смешивать работу с тем, что произошло между мною и конторщиками. Однако пока я колебался, раздумывал и обращался за советом к самому себе, Гордон и Вилканский предприняли кое-какие действия по своему собственному разумению. Обойдя меня, они явились в контору и выразили там большой и горячий протест, даже пошли в сельский комитет, требуя вмешательства. Теперь для меня уже не оставалось выбора. Если продолжать работать, то в моем проживании в Ришоне ничего странного нет; но оставаться сидеть как ни в чем не бывало, когда дело разбухает и раздувается, когда даже местный комитет собирается встрять и стать арбитром, который будет вести суд и следствие, выслушивать свидетелей и устраивать очные ставки... Весь мир мой разрушился. Привык я к этому месту, к моей полутемной, узкой и длинной комнате, в окно которой перцовый куст просовывает свои ветви, ко двору с его нагромождением всякой всячины и сумятицей, среди которой я уже научился различать любое движение и шорох. К этому крану, не закрывающемуся как следует и без

конца капающему; к переступанию копыт лошадей в конюшне в ночной тишине, будь то от сытости или от голода; к голубям, парящим над голубятней; к щебету птиц, звучащему во время утреннего рассвета на иной лад, чем во время заката; к этим шагам Бен-Зезва над моим потолком, барабанившим у меня над головой; по ритму этих шагов я научился узнавать, сколько мер вина выпил на этот раз хозяин ног или сколько меджид* он проиграл в карты. Рухнул мой маленький мирок, который я возвел собственноручно, вложив в это строительство всю душу. Трудно дается мне расставание с ним.

Вечером, когда стемнело, вошел ко мне толстовец Шейнбойм с непокрытой головой, шагая совершенно беззвучно в своих матерчатых ботинках, сшитых им собственными десятью пальцами, без применения кожи животных даже на подметки.

Его вытянутые длинные пряди волос все так же аккуратно уложены, как и раньше, а на худощавых плечах серая льняная рубашка, опоясанная кушаком с обеими кистями с левой стороны. За это время пути наши далеко разошлись, и мы сталкивались только случайно и ненадолго, поэтому меня удивило, что он не поленился самолично явиться ко мне домой. Теперь он сидел возле моей кровати и мялся, не зная, с чего бы начать. Увидел на ящике маленькую бутылочку настойки йода, которой я смачивал свою разбитую губу, взял ее, заглянул внутрь с выражением недовольства на лице, поставил обратно на место и, не глядя на меня, начал вести свои обычные речи:

— Гибельная отравка... Тряпочка, смоченная холодной водой... Прозрачная чистая вода — нет ничего лучше...

*Меджида — турецкая монета.

Он спросил, что я намереваюсь делать. Я ответил, что пока ничего не знаю, кроме одного: завтра покидаю Ришон и перебираюсь в другое поселение – скорее всего в Петах-Тикву.

– Соседями будем, – сказал он.

– И ты уходишь туда?

В душе я удивился и подумал: неужели это возможно, что и он примкнул к Гордону и Меиру Вилканскому и тоже выражает протест?

– Нет.

– Тогда каким же образом?

– Купил я кое-что... Участок земли в Кфар-Сабе... В дождливые дни пойду туда на работу...

– Собственником заделался, – усмехнулся я. – Пожалуй, еще и я смогу денек-другой поработать у тебя.

– Может быть... Очень может быть... Для этого я и пришел... Пахота... пахота... Боронование... Посадки... Постоянную работу найдешь у меня.

Он был чрезвычайно деловит и весь погружен в свои хозяйственные заботы. Пахота, боронование, посадка. Я уверен, что его плантация будет лучшей из плантаций. Своими тонкими руками, со своим муравьиным трудолюбием, он все перевернет и разроет, а за наемными работниками будет следить в семь пар глаз, этих черных колючих мышинных глазок, и все там будет – сама безупречность и совершенство. Однако я лучше дух испущу, чем постучусь к нему в дверь и попрошу день работы. Оторопь берет меня перед этой святостью, когда она спускается на землю и начинает заниматься практическими делами. Сердечная беседа между нами не завязалась, он остался в своем строящемся мире, а я в своем разрушенном. Вскоре он простился и вышел.

В соседней зале жалюзи были спущены, и крепким сном спали парни, работавшие вместе со мной в

ночную смену. Только Гордона не было среди них. Исчез, потерялся, словно в воздухе растворился. В полуденное время я видел его вместе в Вилканском во дворе винодельни, где он шумел и бушевал, бегал широкими шагами и гладил свою бороду, а с тех пор исчез бесследно и не вернулся. Позже я узнал, что оба они пешком отправились в Яффу и подняли там на ноги всех, учителей и рабочих, призвали их обратить внимание на ту подлость, которая была совершена в Ришоне. И разгорелись страсти. Вскоре после того, как Шейнбойм покинул мою комнату, пришел посыльный из Яффы и принес мне письмо от Шифриса и Туркенича со словами ободрения и утешения и сообщением, что в четверг на рассвете в женском училище соберутся все рабочие Иудеи для разбирательства и протеста. Так моя обида, которую я вырвал из сердца, хотел превозмочь, забыть и стереть из памяти, стала вдруг центром, тем холмом, куда обращаются все, и предана широкой гласности. Ни в коем случае нельзя затягивать дольше пребывание в этом месте, где все меня знают. Но физическая усталость взяла свое. Более 36 часов подряд я не смыкал глаз, и как только прилег на постель, чтобы немного передохнуть, уснул и встал только в понедельник утром. Мне казалось, что после отдыха руки и ноги мои еще больше отяжелели, а в голове еще больший сумбур, и я вообще не понимаю, где нахожусь. Но мысль о том, что я должен спешить выбраться отсюда, мысль, вселившаяся в мой мозг днем раньше, стала теперь прямо-таки неотвязной, и хотя мне еще не было ясно, куда я пойду, все же я счел необходимым немедленно начать готовиться в дорогу. Я посмотрел в зеркало и увидел, что опухоль на губе несколько опала и уже не так уродует лицо. Пошел в винодельню и получил расчет — около 60 франков. Оттуда пошел к лавочнику и ликвидировал все свои

долги. Все мои дела вне дома были сделаны. Дел в доме тоже оказалось немного. Начав укладывать свои вещи, я тут же увидел, что у меня, по сути дела, нет ничего. В этой комнате лишь самая малость принадлежит мне, и стены окружают бедность и нищету. Действительно, эти ящики, с их отсыревшими и разбухшими досками, этот ржавый чайник, эта закопченная лампочка — разве стоит их тащить с собой? Остается лишь блестящий красный чемодан, подарок парней из общества "Шахар" в Круке, в котором поместилось все мое имущество. И вот он стоит среди удручающей пустоты, упакованный и увязанный, а я сижу на нем одинокий и загнанный сирота, как и он.

Наконец-то в обеденное время Гордон возвратился из Яффы, усталый и измученный, с лицом зеленым, словно воск. А я сижу на своих вещах, и в комнате у меня все вверх дном. Он спросил:

— Куда?

— Не знаю, во всяком случае отсюда я уйду.

— Пойдешь со мной в Петах-Тикву.

— Пожалуй, пойду. Есть у меня там знакомый, земляк.

— На закате отправимся в путь.

Он улегся на мешке с соломой, лежащем на досках, когда-то служивших мне кроватью, и тут же уснул и даже не шелохнулся, не повернулся набок: борода разметалась по его груди. А я сижу на своем чемодане и не смею пошевеливаться, — не потревожить бы его. Тем временем пришли парни, работавшие в первой смене, и подняли страшный шум, готовя себе постели на ночь. Однако Гордон спал так крепко, что для него не существовало ничего вокруг. Убедившись, что он крепко спит, я поднялся и вышел во двор, чтобы в последний раз побывать среди всего полюбившегося мне. Тут ко мне пристал крымчак с расспросами:

- Уходите?
- Кого именно ты имеешь в виду?
- Говорят, что все гебраисты покидают винодельню.
- Да, мы уходим – Гордон, Вилканский и я.
- Протест?
- Что-то вроде этого.
- И куда же?
- В Петах-Тикву.
- Пойду и я с вами.

Торопливо отошел от меня и пошел в залу в веселом настроении, как будто клад нашел. И в самом деле: не лег и не присоединился к своим товарищам "японцам", храпевшим там дружным хором, а начал увязывать свое имущество, причем пальцы у него дрожали, как у человека, тайком покидающего один лагерь и переходящего в другой.

Когда Гордон проснулся, деревья уже отбрасывали длинные тени и пришла пора отправляться. Был как раз день Девятое Ава, соленый ветер с моря только добавлял влажность, но совершенно не охлаждал. Все лежало обнаженным под лучами солнца, которое не переставая палило, хотя уже начало клониться к западу. В эти дни уборки винограда было невозможно нанять телегу, чтобы погрузить на нее наши вещи и доставить нас туда, поскольку вьючные животные все время были заняты подвозкой винограда к винодельне, а арабы, торгующие овощами, в это время уже разъехались по своим деревням, и уже не видно их ослов на стоянке возле колодца. Я поднялся к Фатьме, чтобы попросить у нее совета и помощи. Так или иначе, я не ушел бы отсюда, не простившись с ней. Она сидела на кухне у господина Бен-Зезва, ошипывала перья с голубей и готовила большой пир своему господину. Она знала, что я уйду отсюда, видела, что складываю свои вещи, но у нее хватало ума не вмешиваться в

еврейские раздоры, и она сделала вид, будто ничего не происходит.

— Я пришел попрощаться с тобой, Фатьма.

Она уронила голубя, которого держала в руках, вытерла руки передником и подняла свои темнокарие бархатистые глаза, полные заботы и страха:

— Ты уходишь от нас?

— А что мне остается?

Немного подумав, она опустила глаза и пробормотала:

— Маалум (наверно)... Маалум... буджа... — и указала рукой на сердце — иными словами, это означало, что она сожалеет и принимает близко к сердцу случившееся со мной. Я сказал ей, что мы никак не можем обойтись без осла, который отвез бы наши узлы. Она не стала раздумывать и искать отговорки, а встала и прошептала немного кокетливо: "Для тебя? Все сделаю", — подхватила полы своего платья, поправила платочек на голове и вышла. Вскоре она вернулась во двор, а следом за ней старый араб, тащивший за собой на поводке ослицу с попоной на спине. Наступил момент расставания с местом. Узел Гордона мы привязали с правой стороны, рюкзак крымчака с левой, а посередине оставили место для моего красного блестящего чемодана. Старик тщательно укрепил все это темной веревкой, и мы быстро вышли в переулок, чтобы не проходить по главной улице и не привлекать к себе внимание прохожих. Араб-погонщик следовал за нами. Когда мы пришли туда, где дорога на Яффу отделяется от улиц и дорожек деревни, я обернулся назад, и в сердце у меня кольнуло. В голубизне неба стоял эвкалипт, и вершина его отливала серебром в сиянии солнца — тот самый, высокий и гордый, который поклонился мне восемь месяцев тому назад, во время моего первого въезда в Ришон, первым

приветствовал меня "мир приходящему". Он склонил передо мной голову и на сей раз, и приветствие "езжай с миром" прошелестело в его ветвях, но мне казалось, что шелест его звучит теперь иначе, чем тогда, и это уколом отдалось в сердце.

До Бет-Дагона все шло как следует. Поскольку ослица знала, где ясли ее хозяев, она ускорила бег, и нельзя было разглядеть, как копыта ее касаются земли: казалось, все ее четыре ноги одновременно мелькают в воздухе и ударяются одна о другую. Печально и молча шагали мы, словно нас отправляли в изгнание. Ничего не отличало старика Гордона, сдружившегося с нами, от нас, молодых парней, меня и крымчака. Единый стиль присутствовал уже в нашей одежде, стиль нашей бедности, и делал нас похожими один на другого. Желтая соломенная шляпа с широкими полями, ситцевая рубашка на голое тело и сандалии из полосок кожи на босу ногу. Гордон взял мою руку в свою. Он не сказал ничего, но я чувствовал, что он поддерживает и подбодряет меня в час моей беды.

Когда мы добрались до перекрестка возле Бет-Дагона и должны были повернуть направо, ослица остановилась, закатила глаза, подогнула под себя ноги и не хотела сдвинуться с места. Погонщик несколько раз пнул ее своей дряхлой ногой, верещал на нее сиплым голосом из пересохшей глотки, но она не обращала на него внимания, зарывалась мордой в песок и не двигалась. Мимо проходил паренек из деревни, он подошел и начал вертеть ее хвостом, словно цепью. По-видимому, это причиняло ей сильную боль, она поднялась на ноги и начала пятиться назад. Долгое время мы провозились здесь, всячески старались и с превеликим трудом заставили животное повернуть на дорогу в Петах-Тикву.

Однако пройдя несколько шагов, ослица вновь остановилась, начала хлопать себя по шее ушами, словно наказывая сама себя, после чего вновь опустилась на землю, а брюхо ее вздулось как кузнечные мехи. На сей раз мы увидели, что старик беспокоится за нее и помогает ей, распрямляет ее круп, рвет траву на обочине дороги и подкладывает под нее. Он показал нам девять пальцев и согнутый десятый, что должно было означать, что девять с половиной месяцев беременности уже прошло и теперь она готовится произвести на свет осленка.

— Как будто сами небеса задерживают нас, — сказал я Гордону.

— Можно дать и другое истолкование, — ответил он.

— Какое же?

— Рождение нового в родовых муках.

По обе стороны дороги тянулась широкая бахча, и побеги ее растений ползли в песке, как зеленые змеи, а их цветы блестели желтыми огоньками, как глаза крокодила ночью. Нас заметил сторож с вершины холма, спустился к нам, произнес витиеватое приветствие по местному обычаю, увидел, что творится, и пригласил нас в свою сторожку отдохнуть и отведать плодов его сада. Было совершенно ясно, что эта ослица, корчившаяся в схватках, не довезет нас до места назначения, поэтому мы взяли свои узлы и отправились вслед за сторожем. Это был низкорослый феллах в коричневой фетровой ермолке, державшейся на затылке чудом и не доходившей до висков. Он был худ и сух, как обломок стебля тростника, а его черные глубоко посаженные, колючие глазки смеялись, но трудно было понять, о чем говорит этот смех — о хитрости и лукавстве маленького зверька или о наивности человека с добрым сердцем, проявляющего радушие к гостям. Как бы то ни было, он много

хлопотал вокруг нас и старался сделать нам приятным пребывание в его сторожке. Это был открытый всем ветрам навес из циновки, укрепленный на четырех шестах, а под ним не было ничего, кроме кувшина воды и нескольких арбузов в стороне. Хозяин бахчи взял один арбуз, осмотрел его кожуру, поцарапал ее ногтем, затем поднял его обеими руками к уху и нажал, услышал хруст, достал нож, висевший у него на поясе, вырезал треугольный клин, послуживший ему форточкой, чтобы заглянуть вовнутрь, и когда внутри арбуз оказался достаточно красным, он начал резать его на большие ломти, разложил их на листах смоковницы и сказал: "Угощайтесь!" Мы в Ришоне только наспех закусили, дорога и жара нагнали на нас жажду, и теперь этот холодный сочный плод прямо-таки вдохнул в нас новую жизнь. День уже клонился к вечеру, красные лучи солнца падали косо, а черные колющие глазки сторожа-араба прильнули к моему чемодану и не отрывались от него.

— Где вы собираетесь ночевать? — спросил он.

— В Петах-Тикве.

— Как же вы доберетесь туда? Вот-вот стемнеет.

— А нам все равно.

— Москоб?

— Москоб.

— Я дам вам своего осла.

О деньгах он и слышать не хотел. Мы, дескать, его гости, поэтому он дает нам своего осла. Но деревня его далеко, и нам не остается ничего другого, как ждать, пока он сходит туда и вернется. Но теперь уже ясно, что означает смешинка в его глазах: они таят в себе лукавство, замышляют козни и полны корыстолюбия. Когда он ушел, на холм поднялся старик-погонщик, с которым мы доехали до Бет-Дагона, рассказал нам, что его ослица принесла хорошенького быстроногого

осленка, и потребовал от нас деньги за труды. Получив половину условленной суммы, он ушел, осыпая нас благословениями. Мы остались одни, наш гостеприимный хозяин все не появлялся, а крутом была тьма и пустота, нигде на горизонте не было какой-либо избушки, огонька, который подмигнул бы нам. Но когда западная сторона небосвода наполнилась звездами и луна залила воздух голубоватым светом, владелец бахчи вернулся верхом на осле, которого погонял араб высокого роста.

Начались долгие переговоры, хотя они и не назначали цену и продолжали делать вид, будто исполняют заповедь гостеприимства. Арабы уселись в стороне от сторожки, совещались, переговариваясь шепотом. У пришедшего вместе со сторожем высокого парня на поясе висел кривой нож, и он все время оценивающе осматривал крымчака и меня, словно сопоставляя силы нас обоих с его собственной, и также поглядывал на мой чемодан, даже поднял его несколько раз, будто желая узнать его вес. В конце концов хозяин сторожки развел руками и сказал:

— Мой друг отказывается идти, он боится.

— Боится — кого же? — насмешливо спросил крымчак.

— Разбойники шныряют по дорогам.

— Чего же вы задерживали нас? Пойдем пешком, — крымчак поднялся и взял свой узел.

Тут же исчезли колебания и перешептывания. Мы уселись на земле в кружок под навесом сторожки и начали деловые переговоры о плате за осла и труд погонщика. В глазах сторожа вновь появилась сладенькая улыбочка человека, оказывающего услугу своим гостям. Мы договорились о цене, погрузили свои вещи на осла и спустились с холма, провожаемые целым градом добрых пожеланий и благословений, а высокий

парень перестал смотреть на свой кривой нож у пояса, казался безобидным и не замышляющим ничего дурного; крымчак шествовал во главе процессии, осел с погонщиком посредине, а мы с Гордоном замыкали колонну.

Ночная прохлада и лунный свет вселяют в нас бодрость и ускоряют наши шаги. Клубы дыма от папирос крымчака, погонщика и моих столбами поднимаются вверх. Светлячки вспыхивают и поблескивают в траве под нашими ногами, слева показываются собаки арабской деревни Иегудия, высовывают языки и исчезают, от болотистой долины Яркона поднимаются кислые испарения, а после подъема на вершину одного из холмов мы уже увидели Петах-Тикву, раскинувшуюся перед нами огромным лагерем с огнями и тенями своих барачков и домов.

— Куда теперь пойдём? — спросил крымчак.

— К Ручкину, — ответил Гордон.

Мы въехали в село с востока и приблизились к одному из ветхих барачков на его окраине. Этот Ручкин, к дому которого мы подходили, был сапожником. Это был еврей карликового роста, с короткими ногами и широким ртом до ушей, одежда его была — заплатка на заплате. Окруженный маленькими детьми, он напевал себе под нос "вся наша жизнь тяжелый труд" и нарезал в миску овощи на ужин, крошил в нее лук, отчего глаза его начали щуриться и слезиться. Подняв на нас эти плачущие глаза и узнав Гордона, он издал возглас радости и бросился ему на шею. Услышав мое имя, удивился, смутился, приветствовал меня и воскликнул: ах!

Оказывается, моя слава опередила меня, через час все рабочие Петах-Тиквы собираются на митинг протеста против происшедшего в Ришоне, а он, Ручкин, из главных ораторов на этом митинге, и они не станут

молчать и не успокоятся. А в среду все отправляются в Яффу, придут из всех поселений Иудеи, дух вышибут из злодеев и укоротят им руки! На рабочих руку поднять? Мечь и расплата!

И все это связано со мной, все из-за меня, стоящего здесь с чемоданом в руках. Происшествие в Ришоне — это и есть я, и оживает жгучая обида в груди, от которой я пытался убежать. Свет померк у меня в глазах.

Глава XVIII

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

Недаром Петах-Тиква была поселением, притягивавшим к себе всех. Ее хребет был здоровым и крепким, она не нуждалась ни в чьей поддержке, она много делала и мало говорила, она не привыкла к безделью и не прогоняла своих парней в дальние дали, а отцы и сыновья трудились в ней бок о бок, и их плантации простирались все дальше к востоку до берегов Яркона и к западу до известковых гряд. Цветение, рост, зелень деревьев и золотой блеск плодов окружали это место со всех сторон. В ее зданиях и улицах не было порядка и красоты, деревянные бараки преобладали здесь над домами, да и стены домов были не каменные, а покрытые глиняной штукатуркой. Центр поселения выделялся теснотой, скученностью и ветхостью; старость уже давала себя знать в ее переулках и покосившихся заборах; но все существовавшее там имело под собой основу, было в движении и жило полнокровной жизнью. Многолюдно было в синагоге на рассвете во все дни года. Многие евреи поднимались на заре, открывали ее и подолгу молились. Иногда им приходило в голову наложить две пары тфилина и читать главу из книги "Закон для Израиля".* Была

* "Закон для Израиля" — сборник отрывков из Танаха и Талмуда, толкований и изречений известных раввинов, а также правоучений, составленный в порядке разделов Танаха, читаемых еженедельно в течение года.

неделя после Девятого Ава, когда читают "Нахаму" (главу из Танаха — "Утешение"), и голоса множества малышей раздавались из Талмуд-Торы.* Мальчишеские альты звенели в воздухе, как колокольчики, и читали нараспев в обычном стиле Хедера: один читал Микру (текст Танаха на иврите), а второй читал перевод: "И умолял я Господа в тот день, говоря так". Какой только идиш не слышался из уст жителей: резковатый венгерский, широкий и распевный подольский, четкий и лаконичный литовский. Полные женщины ходили с волосами, собранными под цветными платочками иерусалимской мастерской "Тахра". У румяных девушек были красные от стирки пальцы, тяжелые косы за плечами и в глазах небесная голубизна, смешанная с испугом, стыдливостью и страстностью. В утренние часы облака пыли поднимаются на всех дорогах, ведущих из села к полям, плантациям и виноградникам, крестьяне и сыновья крестьян, надсмотрщики и сыновья надсмотрщиков, толпы арабов пешком и верхом движутся по тропинкам и дорогам. Порой среди всего этого видишь высокий, крутой и пузатый движущийся воз, а наверху на животе лежит светловолосый парень и твердой рукой держит поводья. До зари встал он и вышел на луг и сразу понес свои росистые снопы косить, пока не начало осыпаться зерно, и вот он уже возвращается с возом снопов к гумну. Это селение отличалось от остальных простотой в обращении. Здесь нет пустого чванства зависимых людей, нет притворства и лицемерия, заставляющего людей казаться не тем, чем они являются, чванства в манерах, одежде и взаимоотношениях — тех качеств, с которыми я встретился в Ришоне. Но несмотря на то, что здесь бытуют нравы галутского местечка или даже

* Школа, где изучают в основном Тору и Талмуд.

нескольких местечек из нескольких галутов, а культура представляет собой причудливую смесь Будапешта и Меа-Шеарим, все же они более независимые люди, более уверенно отстаивают свое и не пасуют перед общественным мнением. Это потому, что кусок хлеба, который они едят — их собственный, плод их труда в садах, виноградниках и на плантациях. И копейка у них водится. Наверное, судьба обошла меня, если я не приехал прямо сюда восемь месяцев тому назад. Теперь же все пережитое и сделанное мною в Ришоне словно сметено и развеяно ветром.

Наш крымчак, который оставил сегодня своих товарищей "японцев" и как будто "перешел в еврейство", сдружился с нами и примкнул к лагерю завоевателей труда. Он долго и терпеливо уговаривал меня пойти и переночевать у него. Я поддался на его уговоры. Однако велико было удивление крымчака, когда в его комнате оказался какой-то парень, который чувствовал себя там, словно у себя дома.

— Ты кто такой? — спросил крымчак, а тот ответил:

— Я гомельский, Ханкин привел меня сюда.

В те времена принцип "твое — мое" не был незыблемым и навсегда установленным, и поскольку комната крымчака, отправившегося на винодельню на сезон уборки винограда, освободилась, в ней поселился этот парень, что не противоречило местному обычаю. И вот наш хозяин стал готовить ужин для своих гостей, и мы втроем садимся за стол. Я знал, что несколько парней, прославившихся мужественным поведением в день гомельских убийств и погромов, живут теперь в Нижней Галилее на ферме Седжера; имена их были окружены ореолом бесстрашия. Этим летом они начали спускаться к нам на равнину. Правда, этот парень был из Полоцка, а не из Гомеля, но он работал вместе с гомельскими и был из их среды. И вот он сидит за

одним столом с нами и рассказывает о жизни там, в далеких горах. Хотя и был он хрупок, с редкими волосами на голове, вовсе не богатырского сложения, а кожа на шее у него была серовато-лиловой, сморщенной и в складках, как зоб индюка, все же гомельские пользовались славой силачей и смельчаков, а поскольку он вроде бы один из них, то не удерживался от хвастовства собственным геройством. Сколько разбойников он одолел на дороге, сколько гиен истребил между крутыми скалами (!). Во время разговора он то и дело касался рукой левого бедра, того места, где у него был пистолет. Была у этого полоцко-гомельского паренька и поэтическая струнка, и он долго распространялся о великолепии и живописности галилейского ландшафта и своем путешествии на празднества в Мироне в день Лаг Баомер. О том, как взбирался на крутые вершины в Цфате и видел солнце, погружающимся в море с западной стороны горизонта, и восходящую луну, окрашивающую Меромское озеро с восточной стороны.

— Этого не может быть, — остановил я его излишняя.

Посмотрел он на меня черными, как две чернильных кляксы, глазами, и складки на шее у него затряслись:

— Ты что же, был там, что так говоришь?

— Не был, но знаю, что так не может быть.

— Почему же не может быть, если я своими глазами видел?

— Потому что Лаг Баомер приходится на вторую половину месяца.

— Всегда на вторую?

— Всегда. 18 Ияра луна восходит часов в десять, а не когда садится солнце.

— Ну, я не астроном, мы, гомельские, народ простой, — вывернулся он, даже в этих словах подпустив бахвальства и переменял тему. После ужина крымчак

вытащил все свои подушки и одеяла и постелил на полу, и все мы легли рядом по-братски и дружно уснули, а гомельский-подольский положил свой пистолет в изголовье.

На следующее утро, направляясь к своему земляку Квашне поселиться у него, я вначале завернул на улицу Пинскера, которая, собственно, была не чем иным, как широкой грунтовой дорогой, немощеной и покрытой пылью, а по обочинам ее еще сохранились со времен дождей вмятины — колеи телег. В нижней части улицы еще не все участки и площадки были заняты, и дома стояли на больших расстояниях друг от друга. В последнем бараке была квартира Шохата. В том же дворе перед баракком стоял длинный и узкий дом и в нем открытая лавка со стороны фасада. Это была лавка Флецкера, прославившаяся во времена бойкота* в Петах-Тикве. К стене ее был прикреплен мешочный навес, и в его тени сидел сапожник Ручкин за своей работой; он, в отличие от галилейского любителя ландшафтов, был настоящим гомельским и членом партии Поалей-Цион. Он скрючился и стал еще короче на своем низеньком табурете. На животе у него был короткий фартук из блестящей кожи, между коленями он сжимал большой ботинок, а в кулаке — рукоятку ножа с полукруглым лезвием; к рукоятке была прикреплена смоленая дратва; ножом он остругивал подошву, делая при этом движения рукой снизу вверх и изнутри наружу.

— Добрый день, товарищ Ручкин.

Он поднял свои желтоватые глаза, растянул еще шире свой рот, уголки которого и без того доходили до ушей. Он уже знал, зачем я здесь, и сказал:

* Бойкот, объявленный комитетом колонии Петах-Тиквы поселенцам из России за их "свободомыслие" (ханукальную вечеринку парней и девушек).

— Шохат ушел в Яффу.

Эта сапожная мастерская была чем-то наподобие справочного бюро и места встреч для парней. Рабочий, пораженный малярией и из-за слабости не вышедший на плантацию, приходил сюда и садился на лавочку поболтать; оказавшийся не у дел и ищущий работу находил здесь записочку от товарища, который постарался для него и направляет к фермеру, нуждающемуся в работнике; кроме того, здесь концентрировались сплетни и слухи обо всем происходящем в маленькой общине рабочих; этот сказал о том то-то, а тот о третьем — вот что; трудно представить себе, чтобы у кого-то что-то было на душе, и это не стало предметом обсуждения в палатке Ручкина. Он указал мне на лавочку и предложил отдохнуть у него:

— Квашня все равно ушел на рытье котлована для бассейна. Вчера вечером он ждал тебя и очень сердился, что ты ушел ночевать к этому шуту черномазому. Гляди, тесемка у тебя на сандалии еле держится, давай-ка прикреплю.

Я сел на лавочку и дал ему свою сандалию. Сиж у него, одна нога босая, другая обутая, и слушаю этот поток речей, делающийся невнятным и прерывистым, когда он берет в рот конец дратвы, деревянный шпунт или поплевывает на подошву, чтобы она стала мягче. И все же поток не прекращается:

— Шохат ушел в Яффу готовить завтрашнее собрание. А-а! Вот увидишь, сколько народу придет, твоя заслуга велика, да-да, не приbedняйся. Твое имя теперь у всех на устах, и это большое дело — так распалить сердца. Как русский говорит? "Куй железо, пока горячо". Даже эти "японцы" пришли вчера на собрание, и я сказал им: нужно объединиться! Ханкин этот начал: "война против правящего класса", а я ему:

оставь, прежде всего — единство. Так говорит и Шохат, знаешь его? Кажется, ты тихоня, а? Сидишь себе вот так и рта не раскрываешь, а? Как русский говорит? ”В тихом омуте черти водятся”, а я еще добавлю: ”в тихом омуте мудрость кроется”. Шохат, как и я, считает: ”куй железо”, и отправился в Яффу. И, наконец, раз ты умеешь держать язык за зубами, открою тебе кое-что: есть у них союз, тайный-претайный, да, да, есть, от меня никакая конспирация не скроется. На прошлой неделе вдруг вижу — подходит ко мне Залман Гисин, садится на эту лавочку, точь-в-точь на то место, где ты сейчас сидишь, и я себе подумал: нет, неспроста это дело, что этому плантатору искать у меня? Спрашивает он меня: ”Знаете ли вы господина Шохата?” — ”Знаю господина Шохата”, — отвечаю я. — ”У меня тут для него кое-что есть” — и подает мне бумагу, мягкую такую. Большой умник Гисин этот, по-русски написал, думает, сапожник Ручкин не поймет, а он-то понял, все понял — заседание, программа, каково решение? Приняли ли его? Сказал я в тот вечер Гордону: ”что-то тут есть”, высмеял меня старик, а я на своем: ”что-то есть”. И вот на рассвете он убежал, и куда же? В Яффу, знаю, куда он бежит, в союз, потому что у него такое же мнение, как у меня. Подъем есть? Есть. А как говорит русский? ”Куй железо”. Подъем из-за тебя, в этом твоя большая заслуга.

Вернул мне сандалию и вновь зажал между коленями большой ботинок и начал ковырять края его подошвы шилом, зажатым в небольшом огрубелом кулаке. Поплюет и ковырнет, поплюет и ковырнет. Я поднялся уходить, а он крикнул мне вслед:

— Квашня придет не раньше полудня и все равно зайдет в лавку, пойдешь с ним вместе.

— А Гордон где сегодня? — спросил я.

— Гордон, а, Гордон, где же он? Сказал я ему: не нужно, где пять ртов кормятся, найдется и для шестого; но этот старик десять молодых переупрямит, не стал отдыхать и с утра отправился делать проволочную ограду. Он себе на уме, как будто ничего не имеет в виду, а потихоньку справляет все свои дела, вот даже теперь, тот парень, что вернулся вместе с вами из Ришона, этот клоун чернявый, Сашка, прибежал к нему на рассвете, запыхался, еле дышит, несет весть: "Есть, господин Гордон" — "Что есть?" — спрашиваю я. — Не отвечают. Есть, и Гордон собирает инструменты и идет натягивать проволоку для забора; вот так все они, все без исключения. Вот, на одном корабле с твоим Квашней прибыла девчонка из Двинска, Сара, Сара Малкин, портниха, руки золотые, дамы и барышни селá очередь к ней занимают на годы вперед, а та, тонкая, как соломинка, легкая, как пушинка, фью-фью, дунь на нее — и она улетит, а подавай ей заступ, не иначе. Бери пример с меня, говорю я ей, вот я — сапожник, — нет, не слушает, заступ ей...

Так просидел я несколько часов жарким днем в жидкой тени навеса из холста, а Ручкин, занимаясь своим ремеслом, не переставая говорит и выдает все секреты Петах-Тиквы — и про Гордона, и про Шохата, и про Сару Малкин, и т. д., и т. п., пока с рытья бассейна не вернулся мой земляк Ицхак. По его бархатным глазам видно было, что он таит в душе обиду на меня за мою ночевку у Саши. Я объяснил ему, как произошло "обращение в еврейство" этого крымского парня, и он понял и принял мое объяснение. Передал мне письмо от Шохата, в котором говорилось, чтобы я явился немедленно по неотложному делу в комнату Тмимы, не позднее чем в четыре.

— Иду в Яффу, — сказал я.

— Но сначала поешь, — прикрикнул на меня Квашня.

Мы купили еду в лавке Флецкера и перекусили в палатке Ручкина, который впал в плохое настроение, обиделся и горел страстным желанием узнать, из-за чего вдруг эта паника и эта беготня в Яффу, и как это вдруг что-то происходит, а он не в курсе дела. И, несмотря на это, в комнате Тмимы все было так, как предсказывал Ручкин. "Происшествие в Ришоне", иными словами, те удары, которые мне достались, разожгли страсти в рабочем стане, подняли всех на ноги и подтолкнули, и все теперь только и говорят, что о необходимости объединиться. Настало время, чтобы программа, которую мы тогда составили, и пункты которой уточняли в течение шести месяцев и держали за семью печатями, вышла из укрытия и стала предметом всеобщего обсуждения, гласности и практического осуществления, так как в противном случае нас опередят другие мнения и взгляды. Поэтому необходимо, чтобы мы, Шохат и я, как можно скорее, уже в эту субботу, собрали лучших парней Петах-Тиквы, изложили перед ними наши идеи и принципы и приступили к их обсуждению, ибо время не ждет. И еще: завтра раздадутся призывы к мести, и нужно спасти собрание, не дать стихии захлестнуть его; сторонники "овладения трудом" призваны направить его в верное русло, чтобы оно стало собранием братского единения, а не раскола. Хорошо, что председательствовать на нем будет Туркенич: он представит собравшимся текст с умеренными требованиями, предложит, чтобы к Гинзбургу были направлены эмиссарами Шохат и Шифрис, а не просто какие-то никому не известные сорвиголовы. Я сидел и потирал руки от удовольствия. Наконец-то, да будет благословен Давший нам дожить до этой минуты! Вот и выходит наша маленькая команда в море действий, занимается выработкой тактики, имеет свою теоретическую линию, направляет дела с учетом

своих взглядов и становится осью опоры, несущей ответственность за все происходящее здесь. Наконец-то!

Собрание протеста на следующий день оказалось многолюдным. Из всех поселений Иудеи прибыли люди, нас набралось всего около десяти миньянов, Резник и его комитет рабочих винодельни тоже были здесь. Пришли даже несколько "японцев", Саша же, как "прозелит" с особыми заслугами, сидел в первом ряду. Пришли почти все учителя Яффы, и зал женской школы был набит до отказа.

В тот вечер перед собранием я не вернулся в Петах-Тикву, а пошел в кафе в Неве-Цедеке, куда не раз уже прежде закахивал передохнуть в прохладе его скверика. Там и познакомился я с господином Элиягу Сапиром, человеком почтенным, одетым всегда в черное, даже в жаркие дни. Грусть покоилась на его зеленоватом, оливкового оттенка, лице, а в черных глубоких глазах была та немота, которая свойственна совершенно одинокому человеку, живущему в своем обособленном мире и привыкшему больше размышлять, чем говорить. Я знал, что он ученый еврей, родовитый, из видной семьи, обладает познаниями в разнообразных областях науки, писатель и исследователь древности; его иврит был прозрачным и отточенным, и он вводил в него новшества в духе требований времени; его личность увлекла меня. Чем же понравился ему я? Может быть, тем, что я был молод, и он разглядел мое одиночество и душевные муки; может быть, тем, что в моей речи чувствовалось влияние Талмуда. Во всяком случае, когда я оказывался в этом кафе, он делал мне знак, чтобы я присоединился к нему, выделял меня среди других. И в тот вечер я сидел с ним, и он задал мне вопрос:

— Это собрание завтра — какова его цель?

Выслушав мое объяснение, он вновь спросил:

— Пристало ли такому человеку, как я, прийти на этот сбор?

— Уж не хотите ли вы примкнуть к протестующим?

— Да, безобразиие...

И вот теперь я вижу его в зале собрания на одной из скамей — как всегда, в черном, с той же печальной немотой на лице, погруженного в свои, никому не ведомые мысли.

Велика сила коллектива, даже если он числом не превышает десятка, но знает, чего хочет, среди пестрого, разношерстного сборища лиц, случайно оказавшихся в одном месте, подверженных своим эмоциям и почти не знакомых ни с кем из собравшихся. Поскольку порядок открытия был подготовлен заранее, Туркенич без помех был избран председателем и начал спокойно и обдуманно без крика и длинных вступлений, пригласив Резника подняться и засвидетельствовать перед всеми происшедшее на винодельне в тот день. Сразу же начали бушевать и разгораться страсти. Ручкин несколько раз прерывал свидетельство, выкрикивая с места своим непреклонным, возмущенным голосом: "Душу из них вытрясем и руки укоротим! На рабочих руки будут поднимать? Мечь и расплата!" Кто-то негодует и насмехается над Ручкиным: "Знаем мы вас, хозяйчиков, к чему столько разговоров? Пошли в Ришон, схватим этого кассира, такого-раз-такого, и всыпем ему как следует, чтобы потомкам своим заказал руки поднимать на рабочих". Вскривает Гордон и говорит: "Не останавливаюсь перед наказанием, даже физическим, но сначала давайте потребуем от этого конторщика, чтобы он публично извинился и раскаялся, и если согласится, то не понадобится физическое наказание". И вот встает один парень, лицо которого невозможно разглядеть в темноте, но

голос у него приятный, силуэт длинный и тонкий, а голова кучерявая, как у ягненка перед стрижкой, и начинает длинную речь: "Не сам конфликт важен, а его причина — то, что рабочие разобщены; если бы они были объединены, какой-то ничтожный кассир не посмел бы; поэтому, прежде чем принимать какое-либо решение по поводу самого происшествия, лучше сначала провозгласить объединение и здесь же избрать комитет, который был бы уполномочен заниматься объединением и занялся бы также происшествием, из-за которого собрались — ведь какой смысл и какую ценность имеют речи, если некому действовать от нашего имени?" Этому парню нельзя было отказать в логике и деловитости.

Медленно, словно бык после лежки, поднялся со своего места человек, чья квадратная голова выросла над морем голов собравшихся — это Ханкин, от ножа которого пало несколько громил в Гомеле и который был теперь проводником ученого-зоолога Аарони и обошел с ним все пустыни и заросли, лова барсов, степных волков, летучих мышей и всяких ястребов и орлов. Его мощное тело словно светилось сквозь облегающую его белую трикотажную тельняшку без рукавов, оставляющую открытой половину груди. Он сжал руки в кулаки, как делал обычно, вступая в спор, выбросил их вперед в воздух, словно в боксе, причем бицепсы на его руках вздулись, как два арбуза, а грудная клетка начала наливаться и выпячиваться вперед, доходя чуть ли не до подбородка; и веско спросил последнего оратора:

— А как ты назовешь свое объединение?

— Название не столь уже важно.

— Еще как важно, мы не какие-то безымянные, товарищ дорогой, есть у нас и знамя, и присяга, которую мы дали.

— Какое же имя ты хочешь?

— Поалей-Цион.

Туркенич почувствовал, что поток раньше времени переклестывает через берега, в которые он его направил, и постарался вновь направить течение собрания. Нельзя же вот так сразу необдуманно провозгласить объединение. Единство — во имя чего? На какой основе? Теперь не время и здесь не место. Конечно, собрание изберет уполномоченных, которые будут выполнять его волю. Он предлагает, чтобы в комитете был представитель от колоний — Элизер Шохат, один от города — Шифрис, и, конечно, Гордон. Сначала представители потребуют заявления виновного о раскаянии; если тот подчинится — хорошо, нет — получит наказание. В словах Туркенича тоже был толк, против них нечего было возразить, и собравшиеся приняли бы их без возражений, если бы вдруг ни с того ни с сего не вскочил Ручкин:

— Мы хотели бы выслушать мнение товарища Цемаха.

Публика немедленно поддержала его: — Конечно, конечно.

Я сидел рядом с господином Элиягу Сапиром и спросил его, как сын спрашивает отца: "Что мне делать?" — "Поднимайся, другого выхода нет". — "Но о чем говорить?" — "Что сердце тебе в уста вложит".

Я вышел вперед и пробормотал что-то вроде: "Для меня дело это конченное. До этого никогда рука на меня не поднималась, а на сей раз поднялось много рук, но так произошло и этого уже не воротишь. Но я полон благодарности друзьям и товарищам, пришедшим защитить мою честь, и готов на все, что мне повелят".

Теперь, после того как я был выставлен напоказ всем и собравшиеся удовлетворили свое любопытство,

обсуждение начали подстегивать и приближать к концу. Не было сказано ничего более логичного и красивого, чем предложение Туркенича, и его приняли. Избрали Шохата и Шифриса уполномоченными вести переговоры, составить заявление и делать все прочее, связанное с этим. Но тот парень, который требовал объявить об объединении, не отступился от своего, и к решению прибавилось еще одно, гласящее, что через какое-то время избранные уполномоченные созовут еще одно собрание, отчитаются перед ним в том, чего они достигли, и тогда будет рассмотрен вопрос об объединении.

Все вышли с собрания довольные и умиротворенные. Ханкин вновь вскинул свою угловатую голову и завел песню: "Мир хейбн ди хент гегн Мизрэх ун шверн".* ("Мы воздеваем руки к Востоку и клянемся") — и несколько одиночных голосов поддержали его. Шохат подошел ко мне и сказал: "Я теперь не возвращаюсь в Петах-Тикву, но ты возвращайся еще сегодня ночью и пригласи завтра людей по этому списку в барак Ханкина (он согласен) на заседание в субботу после обеда по вопросу об объединении сторонников "овладения трудом". — Прекрасно. Я взял список. Темноту прорезал повелительный и мятежный голос Ручкина: "Все, кому в Петах-Тикву, — сюда!" И я поворачиваю на этот голос.

Время действовать наступило!

* Гимн партии Поалей-Цион.

Глава XIX

ССОРА МЕЖДУ БРАТЬЯМИ

Я пока живу вместе с Квашней и работаю вместе с ним на рытье котлована. Одиночество первого периода кончилось, и теперь я нахожусь в большой общине братьев по взглядам, происхождению и возрасту, к чему давно стремился душой и рвался сердцем. Поскольку в тот год несколько земельных участков перешли от арабской деревни Иегудия к Петах-Тикве, а плантации стали приносить массу плодов, началось широкое возделывание новых участков, и главными занятиями в колонии в тот сезон были распашка земель и рытье колодцев, котлованов, а заступ был основным инструментом, с помощью которого рабочий согревал себя, и во владении которым тренировался более всего. Эти работы не из тех, что делаются в одиночку, на них трудится много рук в одном месте. На рытье колодца и котлована-водохранилища собираются много парней и работают коллективом, а вечерами всей гурьбой возвращаются в колонию с мотыгами на плечах, соломенными шляпами на головах, плетеными корзинами на правых руках и русскими напевами, полными тоски и грусти, на устах: "Ах ты, доля моя, долюшка, доля горькая", и улица Пинскера делалась многолюдной и оживленной. И оказалось, что в эту компанию входит большинство парней, которых мне приказано собрать в субботу в бараке Ханкина соглас-

но списку, который дал мне Шохат в Яффе вчера вечером. Все может выделить человека, даже его уродство или унижение: происшествие в винодельне, сделавшее меня знаменитым, словно прибавило мне чести, и не нашлось товарища, который отклонил бы мое приглашение.

Когда мы в тот вечер вернулись с котлована, Квашня пошел к владельцу плантации по каким-то делам, связанным с работой, а меня послал за покупками в лавку Флецкера. Вижу — сидит Гордон на лавочке в палатке Ручкина, и по его порванной одежде и перевязанными тряпками пальцам можно понять, что он все еще натягивает проволоку для заборов. Увидев меня, он сделал мне знак, радостно поспешил навстречу, стал спрашивать, как у меня дела и обдал меня теплом отеческой заботы. Поскольку оба они с Ручкиным значились у меня в списке, я собрался пригласить их на субботнее заседание, но не успел заговорить, как Ручкин начал:

— Я в большой обиде на тебя.

— За что же?

— Сначала сядь, пусть Гордон послушает и рассудит: так ли обращаются с товарищем? Как говорит русская пословица? "Мал, да удал". Вчера я под большим секретом открываю ему тайну о существовании общества Шохата, а он сидит здесь, вот на этой скамейке, на которой ты сидишь, и делает вид, будто поражен неожиданностью. Какое такое общество? В жизни о нем не слышал. Какой такой Шохат? Да он почти не знает его. А что оказывается на самом деле? На самом-то деле он и есть секретарь, правая рука, первая скрипка; он-то и созывает всяких проходимцев, только Ручкина он обходит; нет, чтобы зайти и посовето-

ваться со мной — уж кто-кто, а я-то знаю, что творится в Петах-Тикве. Но — нет, ш-ш, от меня таится.

Трудно понять, шутит ли он или в самом деле недоволен; во всяком случае я ответил ему:

— Ради этого я и пришел — пригласить вас. И вас тоже, Гордон.

Ручкин сразу успокоился. Гордон же стал колебаться и взвешивать все за и против:

— Идея труда, — начал он, — до того велика, до того глубока, она самая суть жизни, соль ее, и я боюсь, что она превратится в фальш, начало которой сладко, а конец горек, если вот так поспешно выбросим ее на рынок, создав объединение, почва к которому в сердцах людей еще не подготовлена. Это всеобщность, которую нельзя разменивать на мелочь или раздвоить, создать из нее еще один союз среди множества подобных союзов. Все же я не стану откалываться, приду и послушаю, что скажете.

Даже Ручкин не придает мне бодрости:

— Точь-в-точь так говорит и Зайд: "бед не оберетесь"; он недавно тут проходил, я и спрашиваю: "Пригласили тебя?" — "Пригласили", — отвечает. — "И ты идешь?" — "Сходим, поглядим, чего эти молокососы хотят!" — Да, так и сказал — "молокососы", — и расхохотался во весь свой широкий рот.

От этих слов настроение мое упало, словно мой пыл остудили струей холодной воды. Насмешка Зайда удивила меня. Весь день он работал рядом со мной на рытье котлована, и у него не было никакого повода для насмешек, так как те, кого он называет "молокососами", делали свое дело не хуже его, а может быть, даже лучше. Иногда я отбивал грунт заступом, а Зайд отгребал его, а иногда наоборот: он отбивал, а я отбрасывал. Конечно, он сильный мужчина, руки и

ноги у него как отлитые из стали, а тело словно укоротилось, придавленное тяжестью туго спрессованных в нем сил. Из сибирской тайги прибыл он, а не корпел над Торой; что-то непреклонное, не то славянское, не то татарское, во всяком случае, не еврейское в круглой форме его головы. В его работе нет особой сноровки, движения даже несколько неуклюжи, не говоря уже о том, что нет в них красоты и изящества в обращении с заступом, какими отличается работа Квашни. О нем можно скорее сказать, что он своими мощными руками подчиняет себе работу, одолевает ее. Волосы у него цвета линялого льна; белоснежная кожа альбиноса, почерневшая и опаленная солнцем, отликает краснотой меди. Он не очень разговорчив и даже немного заикается, а его зеленоватые глаза, не терпящие яркого света, бросают взгляды искоса, то вдоль, то поперек глазного яблока, в них словно перемежаются утро и вечер: то яркий луч света, то отблеск тьмы, в которой скрывается напускная злость и оставляет после себя следы даже тогда, когда губы и все лицо его расплывается в смехе, тёплом и искреннем, в котором много душевной широты, обаяния и доброты — истинных его качеств.

Не так быстро, как я надеялся, идет дело к желательному концу. Люди подозрительны, собственники по натуре и всегда отдают предпочтение своему, а перед вышедшим из уст другого и как бы уже не своим закрывается дверь, и открыть ее нелегко. Шел я к бараку Ханкина, сопровождаемый скептицизмом Гордона и насмешками Зайда, и оба эти попутчика не вселяли особенной бодрости. Не менее меня озабочен был и Шохат в тот вечер. Он сидел на досках кровати, волосы его были всклокочены, лицо зажато между ладонями рук, локтями упирившихся в колени, и эта поза не говорила о его твердой уверенности. С самого

начала было ясно, что здесь сходятся два лагеря, два мира без общего языка, и, что гсего хуже, сделанные из разного теста. Те, другие, кичились физической силой, мощью своих бицепсов и грудных клеток. Вот сегодня в обеденный перерыв взял Зайд свой тяжелый заступ, поставил его между большим и указательным пальцами и медленно-медленно поднял над головой, а затем так же медленно опустил, не сгибая руки. Все попытались сделать то же самое, но ничего не вышло. И когда я теперь смотрю на сидящего передо мной Шохата, похожего на мешок с костями, мрачного и замкнутого в себе, состоящего, казалось, из одной силы воли, то вот это физическое несоответствие между ними и нами было в моих глазах самым главным противоречием.

— Знаю, — сказал он мне, — я даже говорил с Гордоном об этом: у этих гомельских взгляды не такие, как у нас. Но раз уж мы начали, надо идти до конца.

— Может, увеличить число приглашенных?

Я сказал это с умыслом. Несколько недель тому назад приехали еще два парня из моего городка. Один из них — Липа Тойб, тонкий и нежный юноша, сын торговца тканями, из хасидов Радзимины, которые известны как любители пожить в свое удовольствие, курящие толстые душистые сигары и пьющие не обычную водку, а настоящую на апельсиновых корках, щеголяющие нарядами, опрятностью, и по субботам и в праздники носящие бархатные шляпы на пядь ниже общепринятых, а рубашки с еще одной жесткой складкой у шейного проема сзади, похожей на воротник, с приделанной к нему узкой черной лентой, которую можно считать настоящим галстуком. Что-то от этой изнеженности, франтовства и любви к удовольствиям

пристало и к другу моему Липе. Силачом он, конечно, не был, и пока что не он владел заступом, а скорее заступ владел им. Очень скоро ввалились пухлые щеки его, и покрылись мозолями мягкие ладони, с которыми он прибыл из-за моря, и в его красивых голубых смешливых глазах стоял большой страх перед новой жизнью, которую он начал здесь.

Второй мой земляк, прибывший сюда — Шломо Левкович, старше меня на два года, высокий, худой, долговязый парень, все части тела которого, большие и малые — руки и ноги, нос, вся форма лица сильно удлинены, и даже кажется, что щелки глаз расположены вдоль, а не поперек. Он тоже сын хасидов, отец его — большой знаток Библии, немного педант, большой упрямец и придира, славящийся как человек, мнения которого противоположны общепринятым; он так и рвался петь в синагоге у амвона, хотя голос у него был хриплый — но тут уж все зависело от других, претензии которых были более обоснованы, так что его желание выполнялось лишь изредка, случайно. Он был писарем в лесах и большую часть года проводил вне дома, денег у него было в обрез, а детишек — множество; его супруга, от которой мой друг Шломо унаследовал долговязость и худобу, была пекарша, трудилась ночами в своей пекарне и вся высохла от жара печей. Шломо же помогал ей вынимать выпечку и еще в отцовском доме привык заниматься и Торой, и трудом, и в его руках было много умения и сноровки. И я подумал, что следует включить обоих этих парней в список приглашенных; хоть они и новички, все же они из наших.

На этот раз Шохат отверг мое предложение, и в голосе его слышались даже раздражение и горечь:

— Ни в коем случае нельзя допускать исключений, и без того претензий множество. Вот недавно приходил

ко мне Залман Гисин, полон злости: как же это? Товарищ он или нет? Я объяснил ему, что на этой встрече, преследующей такую цель, в первый раз лучше ему не присутствовать, но очень сомневаюсь, удалось ли мне его успокоить.

Я не стал возражать ему и знал теперь, почему он не в духе и так растерян. Пока пребываешь в мире раздумий и мыслей, пред тобой только главная суть идей, и даже противоречия не содержат в себе зависти, конкуренции и дурных страстей. Когда же вступаешь в область действий, то перед тобой — взаимоотношения людей, их злобность и завистливость, игра страстей, сразу же на твой мир обрушивается поток мелочей и грозит потопить его.

В субботу после обеда я первым постучался в дверь барака Ханкина, и жена его Хая-Сара встречает меня в деревянных стенах большого помещения, в котором сквозь щели между досками и слой облупившейся известки можно разглядеть синеву неба. Бедностью веет от пустоты просторной комнаты, но проворные руки этой молодой женщины ловко владеют тем немногим, что есть, умеют приукрасить его и создать уют. Стол застлан белой скатертью, вышитая салфетка прикрывает швейную машину, стоящую в стороне. Во всем ее обхождении чувствуется материнская заботливость. Она последовала за мужем когда он вынужден был покинуть родные места — и вот она здесь, со своими серыми глазами, рыжеватой копной волос на голове и своей особой сладкой, смущенной и кокетливой улыбкой на устах. Ханкин еще не проснулся, и мне слышно, как он храпит за перегородкой на теневой стороне двора.

— Жарко сегодня, — говорит она, словно оправдываясь в том, что муж спит и не встречает гостей.

— Да, очень жарко, — отвечаю я.

Тут же пришли Шохат и Гордон, Ручкин и тот полоцкий, который в Лаг-Баомер видел одновременно солнце и луну, и Зайд, и еще несколько парней, и сам Ханкин, наконец, выспался и вошел. Не хватило ящиков, чтобы рассадить всех приглашенных, часть уселась на полу, и пустота комнаты наполнилась смехом и болтовней.

Шесть месяцев подряд, раз в две недели в субботу вечером, мы засиживались допоздна и обсуждали идею труда, теорию ее и практические пути, и нам казалось, что мы вырастили дерево с ветвями, отростками и побегами; на славу построили здание, в котором все подогнано и скреплено и невозможно сдвинуть хотя бы камень. Но когда Шохат открыл собрание, начал объяснять его цель и просил меня дополнить сказанное им и изложить вкратце устав объединения и его задачи, я почти лишился дара речи. Стал говорить то, что уже говорилось сто и один раз и потеряло свою новизну; опять та же песня о поселении, не способном содержать себя, где на поселенцев работают чужие, а сами они живут милостью других. Я говорил об овладении трудом в колониях, о столовых для рабочих, уроках иврита по вечерам, об обязательности общения на иврите, о необходимости объединиться, чтобы оказывать помощь парням, прибывающим в страну, учить их работать, привлекать в нашу среду, основывать библиотеки и ссудные кассы. Не упустил я и случая провозгласить сочиненный мной девиз: "Не меч и книгу, а заступ и еврейскую культуру связываем мы воедино!" — и все же я чувствую, что слова мои не производят заметного впечатления на собравшихся. Кое-как заканчиваю — и не вижу перед собой ничего, кроме гнетущего молчания и приоткрытых губ Зайда,

в изгибе которых смешалось выражение насмешки и снисходительной жалости, но тут же увидел я и светлые глаза Гордона, и большую печаль в них. Закончив, я уселся обратно на свой ящик.

Ручкин ерзал на своем месте, словно готовясь заговорить, но Ханкин подал знак полоцкому, и тот начал:

— Мы понимаем, что Петах-Тиква — не Гомель, и необходимо дополнить программу, исходя из обстоятельств. Однако прежде чем мы приступаем к обсуждению программы, нам хотелось бы знать, какое название вы даете этой организации?

Эта форма речи с "мы" и "вы" не предвещала доброго, но все же Шохат начал обстоятельно объяснять, что если наметится согласие в главном, то из-за названия не будет споров. Но Ханкин, полоцкий и Зайд в один голос протестуют, между ними есть сговор, и название для них первое дело. Шохат в растерянности развел руками и спросил всех:

— Какого же названия вы хотите?

— Для нас существует одно, единственно возможное, — отвечает полоцкий.

— Какое же?

— Поалей-Цион, — торжественно провозгласил Ханкин.

Шохат начал подробно объяснять, почему это название неприемлемо. Правда, оно самое красивое, но мы стоим перед Седьмым конгрессом, Эрец Исраэль затоплен волной угандизма, и члены Поалей-Цион повсеместно в большинстве своем территориалисты, так что новому объединению, которое появится здесь, дать то же название было бы ошибкой. Тут вдруг вскакивает Гордон:

— Социалистов хотите... Хотите и бундистов, и Сион, и Иерусалим... Все материя, Бога нет, а?..

Та напускная суровость, которая всегда искрилась в глазах Зайда, разгорелась в большое пламя и превратилась в настоящую злобу, а добродушная улыбка исчезла с губ.

Вспышка Гордона, конечно, была следствием горького возмущения и тяжелой обиды. Ведь они не бундисты. Ведь они здесь. И даже там, в Гомеле, они первыми выступили против бундистов. Зайд поднялся со своего места на полу, подошел ко мне, и его всегда косо направленный взгляд кипел и излучал черноту; не знаю, почему он обрушил весь свой гнев на меня — мы ни разу с ним не обменялись резким словом.

— Бундисты... Сосунки вы такие! Молокососы! Наставлять нас хотите? Учить уму-разуму?

Встреча была сорвана. Тут настал момент отстаивать свою честь:

— Есть вещи, которым вам не мешало бы поучиться и у нас, — ответил я ему.

— В самом деле? Ты меня научишь? Чему же, например?

— Хотя бы тому, как держать заступ в руках.

С моей стороны это был недостойный выпад. Глубоко сидящий во мне дух моралиста подвел меня, и я задел скрытую рану Зайда. Его неуклюжесть была следствием врожденного физического недостатка, который он всю жизнь преодолевал огромными усилиями. Лицо его побледнело и выражало страдание. Нечеткость речи, которая делала еще более приятным его мягкий сибирский диалект, усилилась, речь сделалась бессвязной, он издал несколько нечленораздельных возгласов и направился к выходу из барака. Хая-Сара

преградила ему путь, схватила за руки и, как ребенка, усадила обратно на место.

Вскоре, когда страсти несколько улеглись, уже нельзя было разобрать, отчего вспыхнул огонь раздора: ведь сердцами мы были связаны друг с другом, собрались вместе с наилучшими намерениями. Теперь же появился этот "телец", и мы погибаем, как скотина, и публично позорим себя. Сидим мы, пристыженные и торопящиеся как-то загладить неловкость, и тут раздается стук в дверь барака. При общем молчании входит девушка, одетая в белое, на глазах очки с синими стеклами, что-то наподобие пенсне в золотой оправе и на коричневом шелковом шнурке, свисающем из-за уха. Наглухо закрытая блуза не оставляла обнаженным даже участок кожи с пуговицу величинной; рукава доходили чуть ли не до кончиков пальцев, а воротник — до подбородка спереди и до копны волос сзади. Личико у нее было маленькое, симпатичное, пожалуй, даже красивое, большое удивление смешалось в нем с испугом зайчихи, которую настигают преследователи. Хотя жизнь здесь уже высосала из нее много крови, все же она не стерла румянца с ее щек. Когда же она снимала очки и показывала свои глаза, в которых вспыхивали зеленые лучи, сразу же было видно, что ни о чем еще не говорят ее узкие плечи, закрытые и отрекающиеся от всякой мирской радости, ни о чем еще не говорит эта скромность, эта хрупкость тела, словно стремящегося стать бесплотным. Скрытый пламень пылал под этим льдом. Сара Малкин из Двинска прекрасно знала, что ей предстоит, ничуть не была слаба в своей скромности; не было человека, кто смог бы заставить ее отступить от своего мнения и изменить свои взгляды и образ жизни; что она в глубине души решила, то и доведет до конца. Если не считать Тмиму, воспитательницу детского сада из Яф-

фы, и Хаю-Сару, которая, будучи замужем, тоже несет бремя труда и зарабатывает шитьем, то Сара Малкин — первая девушка, которая целый день трудится вместе с нами на плантациях. И мы были пристыжены, потеряны и сидели, уставясь в землю, когда она застала нас вот так, среди раздора.

Глава XX

СИМХАТ-ТОРА

Коль скоро поселился в нашем лагере дух раздора, то он должен разрушать всякое согласие и портить всякий замысел. Правда, полоцкий пытался сгладить противоречия и примирить стороны: возьмите наше название, а мы примем вашу программу и даже этот ваш иврит, который нам не нужен. Взять их название? Разве не их оратор Нахман Сыркин как раз в это время выступает в Конгрессе и обеими руками отмахивается от требований Фрейбурга? Нет, это невозможно. И вскоре снова все повскакали с мест и обзывают друг друга, так, что барак Ханкина, казалось, вот-вот рухнет от напора голосов. Выражения становятся все крепче, и ссора грозит перерасти в драку, поскольку у гомельских кулак всегда считался более сильным аргументом, чем слово. И вдруг я слышу, как Шохат в общем шуме кричит не своим голосом: "Все, кто присоединяется к нам, — идемте ко мне домой!" Как так? Ведь если мы уйдем отсюда, то это будет раскол на два объединения!

Пошарив глазами вокруг, я нашел лицо Шохата. Все та же болезненная гримаса застыла на его губах, а локтями он прокладывал себе путь к выходу из барака. Восемь человек вышли за ним, но из них только половина пошла к нему домой. Гордон не пошел. Даже Ручкин не пошел.

Молча шагаем мы вчетвером — Шохат, Сара Малкин, я и еще один парень — среди жары и тишины субботнего дня, по опустевшим улицам колонии и кажемся сами себе большим войском, отправляющимся на войну. Шохат живет далеко, в самом конце улицы Пинскера. Из окна дома одного из колонистов доносятся рулады напева из Мидраша-Раба "И смилуюсь": "И сказали сыны Израиля Иереми: с какими же лицами возвращаемся мы к Всевышнему?"

Закрыта лавочка Флецкера, пусто в палатке Ручкина, только навесы ее постукивают на морском ветру. Что-то новое вошло в сердце, что-то колючее — как заноза — не сама идея труда, а страстное желание победить, подчиняющее себе наши души, и если это даже страсть, то в ней много грубости, и даже сама идея склоняется перед ней. Сильное сладостное чувство рождает убеждение "Правда на моей стороне!", оно затопляет наши души, в то время как мы рассаживаемся на койке Шохата и приступаем к переговорам. Согласие между нами полное, нет протестующих и спорящих, и даже чудится что-то плохое в том, что нет никакого сопротивления, это сдерживает и охлаждает наш пыл. Мы объявляем себя "Инициативным комитетом" и начинаем сочинять обращение к местным рабочим с призывом поддержать нас. Шохат формулирует, а я записываю, каждое предложение переделывается несколько раз, из него удаляется всякий намек на резкость, все лишнее убирается — получается своего рода воззвание, главная цель которого — сообщить, что мы существуем, что есть в Петах-Тикве "Инициативный комитет", ставящий себе цель объединения, овладения трудом, создание нового человека в стране, и двери его открыты для всех желающих. Я переписываю

ваю это сообщение в четырех экземплярах, Сара Малкин берет на себя обязанность передать один из них в палатку Ручкина, другой — в магазин Флецкера, а третий — повесить возле аптеки. Четвертый экземпляр мы с Шохатом берем с собой на заседание в Яффу, куда тотчас же отправляемся, чтобы обсудить все происходящее. Сара будет ждать нашего возвращения с разрешением распространять воззвание. Велико наше нетерпение, события подгоняют, пути назад нет. Да, не таким виделось нам начало — не в крике, ссорах и разногласиях. Но нельзя привить новое учение иным путем, и даже изучение Талмуда не происходит беззвучно и приходится повышать голос.

Поздно вечером мы прибыли в Яффу и сразу же доложили о том, что произошло. В комнате Тмимы нас уже ждали Шифрис и Туркенич, а с ними — третий, товарищ Рафаэль, примкнувший к нашей группе. Ростом он был мал, но с длинными руками, концы пальцев которых доходили до его низких колен. На коже его черепа несколькими пятнами светлели пролысины, и по расположению их казалось, что кто-то руками выщипал ему волосы, заранее решив кое-где их оставить и кое-где удалить. Глаза его были цвета вылинявшей голубизны и при дневном свете приобретали другой оттенок, век на них не было, и казалось, что он никогда не мигает. Конечно, веки были, не бывает же так, чтобы у человека не было век; но они словно свернулись за густыми бровями, были проглочены ими и исчезли. Главное занятие товарища Рафаэля — участие в обществах, заседания, произнесение речей. Губ у него не видно, одна лишь голубая нить протянута под носом. Казалось даже, что и легких у него нет, поскольку поток его речей не выходил из глубины, а возникал как бы в результате трения возле отверстия его рта и струился словами, как неиссякаемый источ-

ник воды. И даже казалось, что его слова рождаются в голове, не от мыслей, а где-то в пространстве рта, а оттуда язык выкатывает их и выталкивает наружу, в воздух.

И вот теперь, когда сторонники овладения трудом начали выдвигать свои требования перед всеми и привлекать людей для поддержки своей идеи, товарищ Рафаэль оказался как будто созданным для этого. Нам, остальным, для разговора об этом хватило бы часа, он же ораторствует и ораторствует несколько часов без передышки. Углубляется в историю, начинает с первородного греха и проклятья земли, делает несколько промежуточных остановок по дороге возле покойных мудрецов ("Хазал"), возле Рамбама, Гесса, Калишера и Зезва Явеца, пока, наконец, не добирается до настоящего времени. Он не боится разбегаться издалека, поскольку его не утомляет возвращение назад.

С момента, когда к нам присоединился товарищ Рафаэль, исчезла непринужденность наших дружеских бесед, их свобода от оков этикета и подчинение одному лишь неписаному правилу душевного согласия. Переход от произносимого к реально существующему всегда немного напоминает движение по наклонной плоскости. Теперь же у нашей маленькой компании есть председатель, который устанавливает, какие дела подлежат обсуждению, и есть секретарь, записывающий в блокнот. И как-то само собой получилось, что Рафаэль — председатель, хотя никто и не избирал его — но кто же еще, если не он, разбирается в том, что за чем следует, что относится к делу и что не относится? Он очень важничает с нами и, как все карлики, считает себя властелином, и когда Туркенич, Шифрис и я делаем отступление в сторону, этот опытный педагог тут же вмешивается и твердой рукой возвращает

обсуждение в свое русло. И теперь он взял бразды правления в руки, и после того как мы рассказали, что произошло в Петах-Тикве, о разногласиях, расколе, "Инициативном комитете" и послании, спросил:

— А не думаете ли вы, что немножко поторопились?

— Что значит поторопились? Ход событий был таков, — раздраженно ответил Шохат.

— Это значит, что нельзя отпускать события на самотек; тем более, что еще не было никакого решения относительно названия; эта проблема еще не стояла перед нами, а вы по своей прихоти взяли да отклонили.

— А ты считаешь, что мы должны были принять их название?

— Принять? Ни в коем случае. Но что толку было так прямо и резко отрубить — "нет"? Ответили бы — "подумаем", "посоветуемся с остальными товарищами", или еще что-нибудь в таком же духе. Время, время, немного тонкости и даже хитрости — вот что решает в переговорах.

— Я не мастер в тактических уловках, — отмахнулся Шохат, и тень омрачила его лоб.

По сути дела весь этот разговор в таком стиле был лишь необходимым этапом красивых слов для людей дела, отмечающим новое положение "завоевателей труда", спустившихся из туманных далей снов и мечтаний на землю. Все были согласны с тем, что хорошо поступили в Петах-Тикве и что "Инициативный комитет" — прекрасное начало, а воззвание, составленное нами, приемлемо по содержанию и форме. И если Поалей-Цион будут упорствовать в своем отказе, то провозглашение объединения из-за этого не будет отложено. На том же заседании даже был назначен срок провозглашения — во время праздника Суккот. По домам мы разошлись лишь в два часа после полуночи.

Еще в ту ночь мы с Шохатом вернулись в Петах-Тикву. Едва успев вздремнуть, я уже должен был встать, взять свой заступ и отправиться копать.

Уже не раз сообщал мне Квашня о недовольстве хозяина плантации, утверждавшего, что рытье бассейна не идет как следует и обходится ему втридорога, так как не все рабочие достаточно хорошо обучены. Надо признать, что в его претензиях была доля истины. В то время каждый корабль, прибывавший в порт Яффы, привозил с собой несколько парней, которые не искали никаких других мест, а шли прямо к нам. И в связи с этим у меня родилась мысль: может быть, лучше нам взять рытье бассейна целиком на себя, под нашу ответственность, и тем самым избавиться от претензий? Пусть хозяин платит за весь бассейн, а расчеты между собой мы произведем сами. Понятие "подрядных работ" тогда еще не вошло в обиход, и вместо него пользовались близким к нему арабским выражением "мукавалла" — но имелось в виду то же самое.

Квашня в тот же вечер пошел к хозяину плантации, договорился с ним, так что рытье котлована бассейна перешло в наши руки, и мы сами стали хозяевами в этом деле. С этой вестью он тут же пришел в комнату Шохата, где ждал инициативный комитет. Вот и прекрасное начало для одного из пунктов нашей программы, пока еще лежащей никому не известной среди бумаг товарища Рафаэля: обучение работников, чтобы овладели своим ремеслом как следует и дело спорилось в их руках. Квашне поручили сообщить об этом всем работающим на рытье котлована и постараться убедить их принять новый порядок работы.

В полдень следующего дня сидели мы на земле большим кругом, восемнадцать парней, "японцы", гомельские и плонские, усталые, измученные, с общим для всех жжением и оцепенением в черепной коробке от

зноя, которым припекало наши головы солнце месяца Ава: сидели, раскинув вытянутые ноги и прислонившись спинами к гладкой стенке упаковочного склада, с физиономиями, блестящими от слоя темного грунта, в котором мы рылись, пока ручки заступов не накалялись в наших ладонях и тонкая черная пыль, смешавшись с потом на лицах, прилипала к ним. Каждый вытаскивал буханку хлеба из своей сумки и ел один или вместе с товарищем по комнате, хотя пища у всех была одна и та же: та же селедка из магазина Флецкера, те же сардины и маринованные маслины, а кто приносил в стакане немного растительного масла с луком, тот уже считался избалованным.

— Есть у нас дело для обсуждения, — начал Квашня.

— Опять собрание, сыты мы уже собраниями, — недовольно проворчал кто-то.

— По делам работы.

— Вечно у вас дела, куска хлеба спокойно съесть не дадите.

И все же начали обсуждать дело. Зайд пришел в большое воодушевление, хотя и знал, где готовилось это варево: мое молчание и то, что я стоял в стороне, красноречивее слов свидетельствовало об этом; он наклонился ко мне и с этой напускной суровостью в глазах подмигнул и прошептал: "В толковых делах мы пойдем с вами". Даже маленький Шафран, который был чем-то вроде уполномоченного у "японцев", дал свое согласие. Остальные не возражали и с ленцой жевали свои краюхи. Квашню избрали бригадиром, а Шафрана — счетоводом и кассиром; и вот после перерыва, когда мы вновь начали колотить заступами черный, маслянистый грунт, мы поняли, что колотим теперь уже для себя. Зайд затянул "Ах ты, доля моя, долюшка, доля горькая", "японцы" подхватывают. А у нас нет своих песен. Я подумал про себя: был бы здесь

хоть Ручкин, спел бы он нам: "В труде вся наша жизнь". А с наступлением вечера идем мы в село — рота из восемнадцати парней, восемнадцать заступов на плечах сверкают в лучах заходящего солнца, словно маленькая передовая рощица того большого леса заступов, который прибудет. А когда мы вступили на улицу Пинскера, я увидел воззвание нашего инициативного комитета уже прикрепленным на стенке палатки Ручкина; прохожие столпились возле него и читают.

Но никто не пришел с протянутой рукой помощи на призыв комитета. К нему примкнул мой земляк Липа Тойб, но в этом не было ничего неожиданного: он с самого начала был наш. Всего-то нас — раз, два и обчелся: пятеро в Петах-Тикве и четверо в Яффе.

Уже начали трубить в шофары в синагогах села — близились "Страшные дни".* Все признавали, что коллективное рытье котлована — большое дело. Прибывает парень с корабля — и не бегаёт, не обивает пороги у колонистов, а просто, взяв заступ, берется за работу как за свою собственную. К нему приставляют "педагога", чтобы обучил его новому ремеслу, поденную работу он получает наравне со всеми — и даже "японцы" не протестуют. И еще что-то новое вошло в нашу жизнь. Инициативный комитет созвал всех местных рабочих на собрание по вопросу об устройстве общественной кухни, чтобы каждый мог поесть горячего хотя бы раз в день — на ужин — и вот уже Шафран, Сара Малкин и Пинхасевич занимаются подготовкой этого. Все одобряют наши дела, но никто не протягивает руку помощи. Пятеро в Петах-Тикве и четверо в Яффе — вот и весь наш отряд.

Эта изолированность группы и малое количество людей и сил и даже ропот, поднявшийся вокруг нее, не

* "Страшные дни" — десять дней от Рош-Хашана до Судного дня включительно. Шофар — бараний рог.

сбил ее с пути. Наша группа знала, что правда на ее стороне и что она призвана делать те дела, которые возложило на нее время. Перед ней лежало это селение, состоявшее из первых и поэтому, без сомнения, и самых лучших сынов Израилевых, — и все же они всю жизнь здесь испортили. И не потому, что плохи они по природе своей, а потому, что погрузились в безделье, заставляют других работать на себя и довольствуются подаяниями и благотворительностью. В этом живом примере испорченности черпала группа уверенность, что те пути, на которые она зовет, хороши и прямы как сейчас, так и для будущих времен. А в праздник Симхат-Тора вся эта девятка собралась в Петах-Тикву, чтобы публично объявить о своем существовании и провозгласить свои принципы. Пришли и Туркенич, и Шифрис, и товарищ Рафаэль, по-праздничному одетые, с блеском в глазах. Заседания происходили в доме матери Залмана Гисина, стоявшем на околице села в тени деревьев. По существу дела было мало споров, поскольку все в нем уже было в достаточной мере выяснено. Но в первый раз мы занялись вплотную вопросом о названии, которое нужно дать объединению. "Поалей-Цион", правда, красивое название, но не годится. Просто "Общество еврейских рабочих Эрец Исраэль"? Но это означало бы подчиненность организации "Ховевей-Цион", в которой секретарем сидит Резник, а членами состоят мелкие начальники и надсмотрщики. Поэтому необходимо было придать какое-нибудь определение слову "рабочие", с тем, чтобы оно отделило эту организацию от остальных и указывало бы на ее сущность. Понятие "трудящиеся", содержащее в себе тот особый смысл, который мы имели в виду, не употребляется больше. Так просиживали мы вдевятиером все утренние часы и бились над этим вопросом, вертели словами туда и сюда, добавляли и

сокращали, пока все не сошлись на том, что к слову "рабочие" надо прибавить прилагательное "молодые", а объединение будет называться: "Союз молодых еврейских рабочих Эрец Исраэль"!

— Запутанно и длинно, как галут, не так уж молодо, и число слов в названии шесть — две трети от числа членов союза, — иронизировал Туркенич.

— Не по существу, не по существу, перейдем ко второму пункту повестки дня, — торопил товарищ Рафаэль, который, как всегда, председательствовал.

Это добавление "молодые" имело большой вес и смысл, так как оно подчеркивало восточную принадлежность объединения. В распадающейся Турецкой империи в то время бродил дух бунтарства против прогнившего режима Константинополя, и в названиях всех этих повстанческих группировок всегда фигурировало слово "молодой" вместе с названием соответствующей страны — "молодой турок", "молодой египтянин" и т. д. И еще мы опасались, что девиз "завоевания труда", который мы бросаем в воздух, будет воспринят как стрела, направленная против арабского рабочего, трудящегося в колониях, а мы сами предстанем в облике иноземных завоевателей. Но в нашем девизе не было ничего общего с таким намерением. Не было в наших сердцах ни осуждения арабского феллаха, ни игнорирования его, ни заносчивости перед ним. Напротив, мы завидовали ему. Почтением пользовался в наших глазах этот труженик, живущий в бедности, грязи и дикости, но содержащий себя своим трудом, расходующий лишь столько, сколько он зарабатывает, без всяких баронов, мисок, копилочек и касс благотворительности. Он живет так, как позволяет ему заработок, то немного, чем он владеет, его собственное, и человеческое достоинство при нем. Добавление "молодые" и предназначалось для того, чтобы вырвать эти

опасения из сердец, засвидетельствовать нашу верность месту и объявить во всеуслышание: на Восток прибыли мы быть племенем свободных людей среди других племен его — вот наше стремление и цель! Нет, не зря определение "молодые" было присоединено к слову "рабочие".

Глубокий смысл таился в этом. Возможно, даже намек Зайду и Иехезкелю Ханкину, считавшим себя волками революции, а нас — наивными овечками: смотрите теперь, мы поднимаем знамя восстания на Востоке!

После того как мы покончили с названием, Шохату и мне поручили изложить на бумаге программу, чтобы ее в упорядоченном и безупречном виде можно было преподнести собравшимся. И мы трудились все послеобеденные часы, вычеркивали, вписывали и вновь вычеркивали, много завоеваний включили в ее пункты, много вопросов экономики и культуры, и с закатом вернулись в дом Гисина с готовой, записанной и отредактированной программой. Хотя мы по сути дела молили уже молотое, поскольку каждое понятие и каждое слово уже неоднократно разбиралось и обкатывалось нами со всех сторон на протяжении семи месяцев, окончательная отделка и отточка текста оказалось делом долгим и трудным, поправок и изменений множество, и мы без конца переставляем пункты, что за чем должно следовать, будто составляем свод законов для всего дома Израилева на все поколения. И лишь когда стемнело, когда нам принесли подсвечник и при этом освещении закончилось редактирование программы и девять подписей появились под ней, мы поднимаем глаза друг на друга и улыбаемся. Это семечко, которое мы начали выращивать и пестовать семь месяцев назад, теперь стало славным деревцем, реальностью, настоящим союзом, и название у него

есть — путаное и длинное, как еврейское изгнание, и число слов в нем равно двум третям от числа его членов, но все же это название.

Туркенич настроен на веселый лад и говорит хозяину квартиры:

— Ну, Залман, закончили Тору, нельзя не обмыть это дело!

И вот Гисин несет кувшинчик вина и бутылки более крепких напитков и разливает по первой рюмке. Но Туркенич просто выходит из всяких рамок, требует по второй и делает фокус: наливает в чайный стакан сладкого вина, смешивает с крепким коньяком и командирским голосом приказывает мне: "Пей!" Одним махом опрокинул я содержимое стакана в глотку. Смесь тут же ударила мне в голову. Словно круг тонкого тумана охватил подсвечник, горевший на столе, а сидевшие за столом куда-то отодвинулись, удалились к самому горизонту.

Я поднялся со скамейки, и хотя был совсем пьян и, казалось, все двенадцать опорных столбов, на которых держится земля, раскачиваются подо мной, разум мой ясен и даже как будто еще более обострен, желания мои осознаны, и я говорю:

— Пошли в центр, нельзя же вот так сидеть одним!

Центр этот — всего лишь начало улицы Пинскера, где по соседству друг с другом расположены синагога, комитет, почта, аптека и другие общественные здания и где по субботам и в праздники собираются местные рабочие. Предложение мое принимается. Невозможно продолжать сидеть в таком уединении. И вот наша компания в девять человек выходит в ночную темноту, я шагаю впереди и пою "Хушу, ахим, хушу" ("Быстрее, братья, быстрее!"). Туркенич подхватывает меня под руку и поет вместе со мной.

Все в селе проникнуто духом Симхат-Торы, со всех четырех сторон несутся песни и танцы, и наша песенка звучит сиротливо среди всех этих голосов. Парни и девушки столпились по обе стороны улицы, некоторые из них присоединяются к нам и следуют за нами, и к центру мы подходим уже большим лагерем. Там стоят "японцы" и другие люди, безучастные к радостной атмосфере праздника. И Гордон среди них. Разглядев, кто это так торжественно приближается, они устремились навстречу нам. Но невозможно петь "Быстрой, братья, быстрой!", стоя на месте. И смолкли голоса, и вновь мы, кучка из девяти человек, среди толпы из сотен и не знаем, с чего начать.

Хотя алкоголь и действует на меня, все же дух во мне незамутнен и желания ясны. Если мы действительно несем Тору человеку в Израиле, то в этот день Симхат-Торы душа жаждет новой мелодии. Но нет у нас мелодий и нет у нас танцев, и вот мы топчемся здесь, словно овцы для жертвоприношения в Храме, ногой не двинем, и нет ликования у нас на устах. Вспомнился мне прошлогодний день Симхат-Тора в хасидском доме отца. Еще одетый в шелковый капот и опоясанный кушаком, который я получил в подарок к Бар-Мицве от моего шурина, столинского хасида, я тогда уже знал, что вскоре отплыву в Эрец Исраэль, что все решено и готово к дороге, и я лишь выжидаю подходящего момента. С тех пор прошел целый год — и вот я здесь, в центре Петах-Тиквы, и эта земля у меня под ногами, и эта Тора человека, живущего своим трудом и содержащего себя, которую я разрабатывал и составлял в течение многих дней и ночей в одиночестве своей комнаты, под перцовым кустом, что цвел в моем окне, написана и подписана и обязательно станет достоянием всех. И тоскует душа моя по песне и танцу, по веселью человека, желания которого испол-

нились, на душе у которого хорошо и бокал которого полон. Вдруг, словно из морских глубин, всплыл передо мной образ одного маленького еврея из тех хасидов, к которым принадлежал и отец; он был всегда полупьян, с длинной рыжей бородой, состоящей из красных, словно языки пламени, завитков, на шее у него была большая шишка, похожая на грушу, а глаза были круглыми и выпуклыми, как два стеклянных шарика. Бедным, захудалым, жалким и забытым был он во все дни года; однако, в праздник Симхат-Тора он ни за что не соглашается чем-нибудь уступить другим и не берет из рук габая Нехемии Дрембуса маленький свиток Торы, забракованный другими, в котором стерлось несколько букв, а хочет хорошую, роскошную Тору и выбирает себе самый великолепный из свитков, почти с него самого величиной, отделанный серебром, с Древком жизни,* увешанным гроздьями гранатов, с алым бархатным чехлом под цвет его бороды. Он обхватил ее, обнимал, прижимал к груди, целовал ее и плясал с ней, напевая свой собственный стих на свой собственный мотив, не употреблявшийся никем, кроме него, и неизвестно откуда им взятый. И в том полупьяном хасиде, единственной радостью которого было окончание Торы,** увидел я самого себя. Я его продолжение, и моя Тора — продолжение его Торы. И его песня вдруг вырвалась из моей груди. Одна моя рука ухватила за костлявое плечо Гордона, вторая — за плечо чернявого крымчака Саши, стоявшего рядом со мной, и те слова и тот напев льются из моих уст, и ноги наши пускаются

* "Древко жизни" — каждый из двух гравированных шестов, на которые наматывается свиток Торы.

** Смысл праздника Симхат-Тора в том, что в этот день заканчивают чтение Пятикнижия (каждую неделю читают по одному разделу) и начинают читать его с начала.

в пляс посреди села на глазах у всей толпы под эти странные слова: "Вэхай... вэхай... вэхай... вэхай ахиха имха!"*

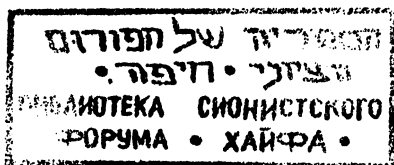
Кто-то в окружающей нас толпе выкрикивает: "Да здравствует "Союз молодых еврейских рабочих Эрец Исраэль!"** Женский голос. Наверно, это двинчанка Сара Малкин кричит там. "Сара, идем к нам!" — и она откликается и входит в круг. За нею — Хая-Сара, и даже ее муж Иехезкель, который собирался явиться к нам не иначе как с кулаками, протискивается широкой грудью вперед и увлекается за ними в круг — и мир дому твоему, Израиль. И Ручкин здесь, босой, всегда босой, поскольку он — любитель пословиц и хочет на деле следовать правилу: "Всякий сапожник ходит без сапог". А вот и маленький, худощавый и рыжеватый Шафран, которому в будущем суждено стать первым заведующим рабочей кухни, основанной по инициативе "завоевателей труда", хватается за чье-то плечо и ищет опоры. "Япончик маленький, — в шутку бросаю я ему, — распрями плечи и отрасти брюшко, если хочешь стать нашим поваром!" И вдруг — что я вижу? Не верю собственным глазам. Сам господин Штампер потрудился прийти, вот он в одном из окон, даже лампу поставил, чтобы посветить нам. Председатель комитета Петах-Тиквы, с которым я однажды случайно столкнулся на пути из Яффы домой и который не дал мне всю дорогу шагать пешком, и почти половину пути я проехал верхом на его осле, а он сам погонял сзади, словно наемный рабочий, а возле Бней-Брака указал на открывшийся вид и сказал, что читал про подобное этому место в одном из романов Золя, господин Штампер, столп Венгерского землячества, вот он стоит

* "Вэхай ахиха имха" — "и пусть живет брат твой с тобой" (Кн. Левит, 35)

** "Хапоэл хацаир" — первая рабочая партия в Эрец Исраэль.

в окне и смотрит, как пляшут парни и девушки в центре Петах-Тиквы, и не выражает недовольства, а стоит и светит им своей лампой. Вот оно, продолжение, на которое мы надеялись, вот оно — великое пробуждение.

А парни и девушки хлопают в ладоши по восточному обычаю и с воодушевлением поют вместе со мной песню того полупьяного хасида из хасидского дома моего отца: "Вэхай... вэхай... вэхай... вэхай ахи ха имха"! И напев повторяется без конца, пока не иссякают силы.



2433

עיריית חיפה
מערכת תרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדסטין - ספרייה
מס. מלאי.....

416

СОДЕРЖАНИЕ

От издательства	
<i>Глава I.</i>	Как потерянная овца
<i>Глава II.</i>	Среди своих
<i>Глава III.</i>	В добрый час
<i>Глава IV.</i>	Помощь в трудный момент
<i>Глава V.</i>	К цели
<i>Глава VI.</i>	Разрушенная мечта
<i>Глава VII.</i>	Поражение
<i>Глава VIII.</i>	Путь к свободе
<i>Глава IX.</i>	Мелкими шажками
<i>Глава X.</i>	Старое и новое
<i>Глава XI.</i>	От частного к общему
<i>Глава XII.</i>	Начало раздоров
<i>Глава XIII.</i>	В колее
<i>Глава XIV.</i>	Труд ради труда
<i>Глава XV.</i>	Вино льется через край
<i>Глава XVI.</i>	Под знаком планеты Марс
<i>Глава XVII.</i>	В изгнании
<i>Глава XVIII.</i>	Время действовать
<i>Глава XIX.</i>	Ссора между братьями
<i>Глава XX.</i>	Симхат-Тора

РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ КНИГИ:

- 1–2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А. И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ
СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ
(Процесс Эйхмана)
9. А. И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы
в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. Стихи советского еврея. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА
И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917–1967)
25. Ш. Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ
Рассказы, повести, главы из романов

26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С. Г. Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И. Башевис-Зингер. РАБ
37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ

Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ. Сборник статей. Пер. с иврита.

Автор этого сборника статей, очерков, воспоминаний Шаул Авигур – один из старейших членов кибуца Киннерет. Он – один из организаторов подпольной Хаганы, предшественницы Армии Обороны Израиля. В разное время руководил "нелегальной" иммиграцией евреев из европейских и арабских стран в Эрец Исраэль. Участник героической обороны Тель-Хая в 1920 г. Один из главных помощников Д. Бен-Гуриона в 1949 г. Материал вошедший в книгу, правдиво рисует "государство в пути", строящее свои вооруженные силы в тяжелейших условиях. В нем читатель найдет живые портреты тех, кто заложил фундамент нашей армии.

ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ. Мемуары. Пер. с иврита.

Друзья и боевые товарищи Джимми, горячо любившие своего командира, в своих беседах часто вспоминали Джимми-подростка и Джимми-солдата. Из этих непринужденных рассказов-воспоминаний и родилась книга "Друзья рассказывают о Джимми". Это одна из самых популярных израильских книг мемуарного жанра того времени.

Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ. Пер. с иврита.

В основу книги "Битва за Иерусалим" легли интервью и беседы, проведенные автором с участниками боев за город в период Шестидневной войны (1967).

שלמה צמח

שנה ראשונה